

КОЛЬЦО МИДГАРДА

НЕВЕСТА МИРОВОГО ЗМЕЯ

ВЕРА НОКС

18+

Вера Нокс

Невеста Мирового Змея

«Тайниковский»

2026

Нокс В.

Невеста Мирового Змея / В. Нокс — «Тайниковский», 2026

Раз в девять зим Скальвик отдаёт Змею Мидгарда одну из своих дочерей. В этот раз жребий пал на Ингрид — и она отправилась к Хвостовому камню, зная, что назад никто не возвращается.Но Змей не убивает её. Он становится её единственным союзником — и единственным, кто может помочь найти сестру, которую Ингрид считала погибшей. Чтобы вернуть Ранвейг, придётся бросить вызов богам, раскрыть цену древнего договора и решить, кому верить: тем, кто правит Асгардом, или чудовищу, которое веками держит мир в кольце.Северная магия, опасная тайна и чувство, которое не должно было возникнуть между жертвой и Змеем.

© Нокс В., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Кольцо Мидгарда. Книга первая. Невеста Мирового Змея 5
Глава 1. Жребий 6
Глава 2. Девять ночей 12
Глава 3. Хвостовой камень 18
Глава 4. Чертог Отлива 24
Глава 5. Никого не ел 30
Глава 6. Сейд 36
Глава 7. Гостья, не жертва 42
Глава 8. Чешуя 49
Глава 9. Край прибоя 55
Глава 10. Отцовская руна 61
Г 67
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Невеста Мирового Змея

Кольцо Мидгарда. Книга первая. Невеста Мирового Змея

Глава 1. Жребий

Треску в тот день везли до самых сумерек, и к капищу я пришла последней, с руками, от которых пахло рыбьими потрохами и солью. Отмыть их как следует я не успела. Сунула в ведро у порога, обтёрла о передник, потом сняла его и скомкала под мышкой: идти на жребий в рыбьей чешуе было стыдно даже мне.

Внутри уже стояли все девять. Я стала десятой, и Тордис-повитуха, которая считала нас по пальцам, сбилась и начала заново.

— Торвальдова дочь, — она ткнула в меня скрюченным пальцем. — Где тебя носило? Отец уже чашу наполнил.

— Треску резала, — огрызнулась я. — Её без меня никто не дорежет.

— Сегодня дорезали бы, — проворчала Тордис.

Она отвернулась прежде, чем я нашла, что ответить, и это было правильно с её стороны. Бабка Тордис приняла половину Скальвика, включая меня, и знала, что спорить со мной лучше с порога.

Капище у нас небольшое, бревенчатое, с земляным полом и каменной плитой посередине. Над ней висит молот из цельного дубового комля, тёмный от дыма и старой крови. Раз в девять зим здесь бросают руны на невесту.

Я встала с краю, рядом с Сольвейг. Она была бледной до синевы и держала руки сцепленными на животе так крепко, что побелели костяшки. Я разжала её пальцы и вложила в них свои. Ладонь у неё была мокрой.

— От тебя рыбой несёт, — шепнула она.

— Зато ты теперь думаешь о рыбе, а не о Змее.

Сольвейг всхлипнула не то от смеха, не то от страха, и стиснула мою руку.

Народу набилось столько, что у стен стояли в два ряда. Пахло мокрой шерстью, дымом и людьми, которые с утра ничего не ели: на жребий не едят, Змей чует сытость и обижается.

Ярл Хакон сидел на почётном месте у восточной стены, в синем плаще с серебряной застёжкой величиной с ладонь. Её привезли с юга девять зим назад, вместе с серебром от тамошних конунгов, которые платят Скальвику за то, что мы кормим Змея за всё северное побережье. Рядом с ярлом сидел чужой человек в кожаной шапке с бобровой опушкой. Купец, должно быть. Или тот, кто привёз серебро на этот раз. Он разглядывал нас, как оценивают лошадей на торгу, и я нарочно посмотрела ему в глаза. Он отвёл взгляд первым.

Отец стоял у плиты. Он был в белой рубахе годи, подпоясанной красным шнуром, и его седые волосы были заплетены в две косы, как положено в дни жертв. На плите перед ним стояла бронзовая чаша с бараньей кровью и лежал кожаный мешок. В мешке были руны. Не настоящие, не те, что режут для колдовства, а десять тисовых плашек, по одной на каждую девушку. Каждая семья вырезает на своей плашке свой знак. На нашей была рыба, перечёркнутая волной. Мать резала этот знак ещё для Ранвейг.

Её имени здесь никто не произнёс бы. О тех, кого забрало море, не говорят: имя тянет Змея на берег. Но я думала о ней с тех пор, как вошла, и не собиралась останавливаться.

Девять зим назад она стояла на моём месте. Ей было двадцать два, как мне сейчас, а мне тринадцать, и я видела от стены, как отец вытянул из мешка плашку с рыбой и волной. Он смотрел на неё так долго, что ярл кашлянул. Потом поднял плашку над головой, и Ранвейг шагнула вперёд. Она не заплакала, только поправила косу, и это я помню лучше всего.

Отец опустил руку в чашу и окропил кровью нас всех, проходя вдоль ряда. Капли упали мне на щёку и на шею, тёплые. Я не вытерла. Потом он вернулся к плите, поднял мешок и встряхнул его трижды.

— Змей Мидгарда держит море, — его голос был ровным и низким, таким, каким он говорил на всех жертвах. — Змей Мидгарда держит хвост. Пока держит, не придут из-за воды ни великаны, ни их твари. За то, что держит, он берёт невесту. Тор, защити наших дочерей. Тор, прими нашу плату.

— Тор, защити, — откликнулось капище на сотню голосов.

Я не откликнулась. Я перестала говорить эти слова девять зим назад, и отец знал об этом. Он ни разу меня не упрекнул. О богах мы с ним вообще говорили редко.

Он развязал мешок и сунул руку внутрь.

Я смотрела не на мешок, а на его лицо. Не знаю почему. Наверное, потому что хотела увидеть то же, что видела тогда, девять зим назад: как он медлит. Как надеется, что в его пальцах окажется чужая плашка.

Он не медлил. Он вытянул руку и поднял плашку так быстро, будто знал её на ощупь.

На ней была рыба, перечёркнутая волной.

Кто-то позади меня уронил ковш. Он покатился по земляному полу и стукнулся о плиту, и этот деревянный звон был единственным звуком в капище. Сольвейг рядом со мной перестала дышать. Её пальцы разжались, и я почувствовала, как она подаётся от меня на полшага, сама того не желая, будто от огня.

Я тоже должна была испугаться. Я ждала этого страха девять зим, ложилась с ним и вставала с ним, а теперь он не пришёл. Пришло другое. Горячее, тяжёлое, из живота к горлу. Я узнала его не сразу, потому что оно было слишком большим. Это была злость.

Отец смотрел на меня поверх плашки. Руки у него не дрожали.

Вот что я запомнила из того вечера лучше всего, хотя поняла это не сразу. Девять зим назад у него тряслись руки. Сейчас нет.

Я шагнула вперёд и поправила косу.

* * *

Дальше было то, что бывает всегда. Женщины облепили меня, гладили по волосам, совали в руки никчёмные обереги и плакали, будто хоронили. Мужчины смотрели в пол. Сольвейг протолкалась ко мне сквозь всех и обняла меня так сильно, что я ощутила, как у неё стучит сердце.

— Это должна была быть я, — она выдохнула мне в шею, мокро и горячо. — Я молилась, чтобы не я, и боги услышали, и это ты. Это я виновата.

— Ты дура, Сольвейг, — я погладила её по мокрой щеке. — Если бы боги слушали, о чём мы молимся, мы бы не резали треску.

— Перестань, — попросила она. — Хоть сейчас не надо.

Я хотела сказать что-нибудь хорошее, но тут ярл Хакон встал со своего места, и всё капище повернулось к нему.

Он поднял руку в перстнях и подождал, пока люди замолчат.

— Скальвик благодарит дом Торвальда годи, — объявил он сытым голосом, хотя ел, конечно, не больше нашего. — Второй раз этот дом отдаёт морю дочь. Такого не было при моём отце и при отце моего отца. Пусть скальды сложат об этом. По обычаю, семья невесты получает долю серебра, что пришло с юга, и место за моим столом до следующего жребия.

Он посмотрел на купца в бобровой шапке. Купец кивнул и положил на колени кожаный кошель, тугой и тяжёлый на вид.

Я не собиралась ничего говорить. Честное слово. Но кошель лёг на колени чужаку с таким глухим звяканьем, что у меня свело зубы.

— Оставь себе своё серебро, ярл, — бросила я.

Сотня голов повернулась ко мне. Отец за моей спиной тихо втянул воздух.

— Ингрид, — Тордис дёрнула меня за рукав. — Молчи.

— За Ранвейг ты отцу тоже платил. — Я назвала её имя громко, нарочно, и увидела, как женщины вокруг вздрогнули. — Отец купил на него лодку, она сгнила за шесть зим. Сколько стоит дочь годи, ярл? Две лодки? Три?

Ярл Хакон медленно опустил руку. Лицо у него стало тёмным, но голос остался ровным, и за одно это я его чуть не зауважала.

— Горе говорит за тебя, девушка. Зла я не держу. Серебро возьмёт твой отец, как велит обычай. А ты получишь то же, что и всякая невеста: девять ночей, свадебный убор и почёт, которого не знала ни одна женщина Скальвика, кроме твоей сестры.

— Не смей её называть.

— Ты сама её назвала, — напомнил ярл.

Он был прав, и это бесило ещё сильнее. Я пошла к выходу. Люди раздавались в стороны, как перед покойником, и никто меня не остановил. Только у самой двери я услышала, как отец негромко, вежливо благодарит ярла за серебро.

* * *

Лодочный сарай Кольссонов стоит на отшибе, у края галечника, и пахнет там дёгтем и старыми сетями. Я пряталась в нём с детства: когда руки заняты, голова молчит.

В тот вечер я села на перевёрнутую бочку, вытащила разделочный нож и стала водить им по бруску. Нож и так был острым, но звук был правильный, ровный, шершавый, и под него можно было думать.

Девять ночей. Свадебный убор. Камень.

Хвостовой камень видно с любого места на берегу. Он торчит из воды у входа во фьорд, чёрный, в белых полосах птичьего помёта, и в отлив к нему обнажается гряда, по которой можно дойти пешком. Название пошло оттого, что под ним, говорят, Змей держит во рту собственный хвост. Там смыкается кольцо, которым он обнимает весь Мидгард. Там он и берёт своих невест.

Ранвейг увели туда в свадебной рубахе, с золотыми лентами в волосах, и приковали к железному кольцу в камне. Мы стояли на берегу всем посёлком, и отец держал меня за плечо, чтобы я не убежала. Вода дошла ей до пояса, до груди, до шеи, она запрокинула голову, над водой осталась одна коса с золотой лентой, потом пропала и она.

Её тела так и не нашли. Ничьих тел не находят. Змей забирает всё.

Я провела ножом по бруску так резко, что посыпались искры.

— Так и без пальцев недолго остаться.

Бьярни стоял в дверях, загораживая последний серый свет, мокрый до колен: шёл по кромке воды, где никто не увидит.

— Я разделываю по сорок рыбин в день, Бьярни Кольссон. Я не порежусь.

— Сорок рыбин тебя не злили, — возразил он.

Он вошёл, притворил дверь, нашарил на полке огниво и зажёг плошку с тюленьим жиром. В её чадном свете его лицо показалось старше. Бьярни двадцать шесть, он лучший кормчий в Скальвике, как и его отец. У него широкие плечи, светлая борода в двух косичках и руки, которые знают каждую верёвку на корабле. Он ухаживал за мной с прошлой весны: приносил янтарь, чинил отцу крышу, выменял для меня на юге костяной гребень с резными птицами. Подарок я взяла. Ответа так и не дала.

Он сел на корточки передо мной, и наши глаза оказались вровень.

— Моя лодка стоит в Узкой бухте, — его голос стал низким, будто нас мог кто-то подслушать. — Вода, сушёная рыба, два одеяла и парус. Если выйти в полночь, к рассвету будем за мысом. За мысом есть течение на юг. Через пять ночей будем у данов. Там никто не знает, что такое жребий.

Я перестала точить нож.

Это было глупо и смертельно опасно. За сбежавшей невестой Змей сам выйдет на берег. Так было, по слухам, при прадеде ярла: беглянка ушла ночью, через три ночи море смыло половину посёлка, и тогда отдали двух. Правда ли это, не знал никто. Проверять тоже никто не пробовал.

И всё-таки на миг я увидела лодку, течение и чужой берег, где никто не знает моего имени.

— А потом?

— А потом что пожелаешь. — Он взял меня за руку, ту, в которой не было ножа. Пальцы у него были холодными от воды. — Поставим дом. Будем ходить на торг. Или станешь резать рыбу у данов, раз она тебе так мила.

— Терпеть не могу треску, — буркнула я.

— Да знаю я.

Губы у него смеялись, а глаза нет. Он и вправду приготовил лодку, рыбу и парус. И готов был бросить отца, корабль, всё, что у него было, и уйти со мной в ночь.

Я высвободила руку.

— Нет, Бьярни.

— Ингрид, послушай.

— Если я сбегу, жребий бросят заново. — Я положила нож на колени. — И руна выпадет кому-нибудь другому. Сольвейг. Или Асе, дочери Грима. Или маленькой Гуде, ей в эту осень как раз исполнилось девятнадцать. Ты хочешь, чтобы у камня стояла Гуда?

Он молчал.

— А если не бросят заново, придёт Змей. Так говорят. Ты в это не веришь, а я не знаю, верю или нет. Но я не стану проверять это на Скальвике.

— Это всё правда, — Бьярни упёрся кулаками в колени. — Но ты ведь не поэтому.

Я подняла на него глаза.

Вот за что я его так и не полюбила, хотя старалась: он видел меня насквозь и не делал вид, что не видит.

— Не поэтому, — я согласилась.

— Тогда почему?

Я долго смотрела на огонь в плошке. За стеной сарая шумело море, ровно, тяжело, будто кто-то огромный дышал во сне.

— Я хочу его увидеть.

— Змея? — переспросил он. — Ты хочешь его увидеть?

— Девять зим я думаю о том, как он взял её. Как открыл пасть, или как обвил её, или как утянул на дно. Я думаю об этом каждую ночь. Я хочу увидеть его. Хочу посмотреть ему в глаза. Хочу, чтобы он знал: я пришла к нему не от страха и не потому, что старик вытащил плашку из мешка. А потому, что он забрал мою сестру, и я явилась плюнуть ему в морду.

Бьярни смотрел на меня так, будто впервые видел.

— Он тебя сожрёт, — выдохнул Бьярни.

— Может быть. — Я снова взяла нож. — Но сперва посмотрит мне в лицо.

Он вскочил так резко, что опрокинул плошку, и огонь погас. В темноте я слышала его тяжёлое дыхание.

— Я буду молиться Тору, — его голос дрогнул. — Каждую ночь, все девять. Тор бил Змея. Тор знает, как его бить. Может, Тор услышит.

— Молись, — я снова провела ножом по бруску. Звук был ровным. — Только я не стану.

Он долго стоял надо мной в темноте. Потом его ладонь легла мне на щёку, на то место, куда упала баранья кровь. Он провёл по ней большим пальцем, будто хотел стереть. Его рука была тёплой. Я не отстранилась, но и не прижалась к ней.

Потом он ушёл. Дверь сарая хлопнула, и я осталась одна с ножом, бруском и шумом моря.

* * *

Отец ждал меня у очага.

Дом у нас длинный, для двоих слишком большой. Мать умерла, когда мне было двенадцать, Ранвейг забрало море через зиму. С тех пор мы живём с отцом и двумя старыми трэлями, которые спят за перегородкой и ничего не слышат, когда не хотят.

Отец сидел на скамье, поставив локти на колени, и смотрел в огонь. Белую рубаху годи он сменил на серую, заштопанную на локтях моей рукой. Кожаный кошель с южным серебром лежал рядом с ним на скамье, нераскрытый.

Я остановилась у входа.

— Ты взял серебро.

— Взял, — он не повернул головы. — Если бы я его не взял, ярл решил бы, что дом годи бросает ему вызов. А дому годи ещё жить в Скальвике.

— Тебе ещё жить, — поправила я. — Только тебе.

Он наконец посмотрел на меня. Глаза у него были такие же, как у меня, светло-серые, и в свете огня казались почти белыми.

— Сядь, Ингрид.

Я не села.

— Ты знал, — я сама не понимала, откуда взялись эти слова, пока не услышала их. — Ты знал, что вытащишь меня. У тебя руки не дрожали.

Он молчал так долго, что я успела пожалеть о сказанном. Потом медленно поднялся со скамьи и подошёл ко мне. Отец у меня невысокий, я давно его переросла, и ему пришлось поднять голову, чтобы заглянуть мне в лицо.

— Руки годи не должны дрожать у плиты, — его голос был тихим. — Девять зим назад они дрожали, и весь Скальвик это видел. Ярл потом сказал мне, что Змей мог обидеться. Я не позволю себе этого во второй раз. Вот и всё.

Это походило на правду. Только ответ прозвучал слишком быстро.

— Сядь, — он повторил мягче. — Дай я заплету тебе волосы. Как раньше.

Когда я была маленькой и мать уже болела, косы мне заплетал он. Руки годи привыкли к узлам и тонкой резьбе, он плёл туго, ровно, и коса держалась по три дня. Потом я выросла, и мы оба забыли, что когда-то было иначе.

Я села на скамью спиной к нему. Он распустил мою косу, ту самую, которую я поправила в капище, и долго расчёсывал волосы костяным гребнем Бьярни, с резными птицами. Пальцы у него были сухими и тёплыми. Я закрыла глаза. От огня пахло берёзовыми дровами, от волос дымом капища. Где-то за перегородкой кашлянул старый трэль.

Отец начал плести. Он плёл медленнее, чем раньше. На середине косы он вдруг остановился. Я почувствовала, как в волосы ложится что-то тонкое, твёрдое и гладкое, холоднее его пальцев. Он вплёл это в прядь, затянул, перешёл к следующей.

— Что это у тебя?

— Нить на удачу.

— Нить не бывает твёрдой.

— Эта бывает. — Он затянул узел на конце косы и положил тяжёлую косу мне на плечо. — Не расплетай её до камня, Ингрид. Обещай мне.

Я повернулась к нему. Он стоял надо мной, и лицо у него было таким же неподвижным, как над плашкой в капище.

— Отец. Что ты сделал?

— Сначала обещай.

— Я спросила, что ты сделал.

— А я попросил, чтобы ты обещала, — он положил ладонь мне на макушку, как делал, когда я была маленькой, и тут же убрал. — Больше я ни о чём тебя не попрошу. Даже о том, чтобы ты молилась.

Я нащупала место на косе, где под волосами пряталось твёрдое. Плоское, узкое, с половину мизинца. Китовый ус, кажется. Или кость.

— Хорошо. Обещаю, — сдалась я наконец.

Он кивнул, взял со скамьи кошель с серебром и ушёл в свой угол, за занавесь. Я долго слышала, как он ворочается там, на своей лежанке. Потом всё стихло.

* * *

Уснуть я не смогла.

Когда огонь прогорел до углей, я накинула мамин плащ, сунула нож за пояс и вышла. Ночь была ясной и ледяной, почти полная луна висела над фьордом, и море под ней блестело, как чешуя только что выловленной сельди.

Я спустилась на берег. Галька хрустела под ногами, потом намокла и затихла. Был отлив, не самый низкий, но вода ушла далеко, и гряда к Хвостовому камню наполовину обнажилась. Камни на ней блестели от мокрых водорослей.

Сам камень стоял чёрным пальцем у входа во фьорд, и я смотрела на него так долго, что заслезились глаза. В лунном свете было видно железное кольцо, вбитое в его бок. Рыжее от ржавчины. К нему приковали Ранвейг. К нему прикуют меня.

Я подошла к самой кромке воды. Холод от неё шёл такой, что заныли зубы.

— Слышишь? — голос у меня сел, пришлось откашляться. — Я знаю, ты меня слышишь. Старики болтают, что до тебя доходит каждое слово над водой. Так слушай.

Море молчало. Вода тихо шлёпала о гальку у моих ног.

— Через девять ночей я приду к тебе. Сама. Не плача. И когда приду, ты посмотришь мне в лицо, потому что я хочу, чтобы ты запомнил, кто тебя проклял.

Я нагнулась, подобрала с гальки плоский камень, тяжёлый, мокрый, и швырнула его в воду так далеко, как смогла. Он плюхнулся где-то на полпути к Хвостовому камню. По лунной дорожке пошли круги.

А потом вода там, куда он упал, засветилась.

Сначала я решила, что это луна. Потом что рыба. Потом свет распахнулся, будто открылось веко, и я увидела его ясно: два огромных пятна под водой, бледно-жёлтых, светящихся изнутри, каждое величиной с наш дом. В середине каждого пятна стояла узкая чёрная прорезь. Вертикальная. Как у кошки. Как у змеи.

Глаза смотрели на меня.

Я не побежала. Да и не смогла бы: ноги вросли в мокрую гальку. Я стояла и глядела в эти глаза, а они изучали меня, и это длилось три удара сердца, или пять, или целую жизнь. В них не было голода. В них было что-то другое, чему я не знала названия. Будто кто-то, кто очень давно ничего не видел, вдруг увидел меня.

Потом глаза медленно погасли. Вода снова стала чёрной. Лунная дорожка дрожала на ней, как ни в чём не бывало.

Я стояла на берегу, пока не онемели пальцы на ногах. Потом пошла домой. На полдороге я заметила, что держу руку на косе, на том месте, где под волосами пряталась отцовская нить на удачу.

Нить была тёплой.

Глава 2. Девять ночей

Свадебную рубаху для невесты Змея шьют всем посёлком, и каждая женщина Скальвика обязана сделать на ней хотя бы один стежок. Так велит обычай. Он только не говорит, что делать невесте, пока на ней по очереди меряют подол, а она стоит посреди дома Тордис в одной нижней сорочке и мёрзнет.

— Руки подними, — повитуха ткнула меня в бок костлявым пальцем. — Выше. Ты что, в первый раз рубаху надеваешь?

— В первый раз на меня надевают саван, — огрызнулась я.

— Не саван, а свадебный убор, — возразила Хальгерд, мать Сольвейг, и отложила иглу. — Не гневи море, девочка.

Рубаху шили из белого льна, такого тонкого, что сквозь него просвечивал огонь. По вороту и подолу шла синяя вышивка: волны, а в волнах кольца, одно в другом. Узор был древний, его клали всем невестам. Девять зим назад я видела его на рубахе Ранвейг, и тогда он показался мне красивым.

В доме Тордис было жарко, тесно и шумно. Женщины сидели на скамьях вдоль стен, у каждой на коленях было что-то своё: рукав, лента, пояс. Кто-то пел вполголоса, кто-то сплетничал, а старшие утирали глаза. Молодые глядели на меня с ужасом и любопытством, как на выброшенного на берег кита.

— Ну-ка повернись, — велела Тордис и прищурилась. — Худая ты. Ранвейг была покрепче.

— Ранвейг не резала треску.

— Ранвейг ела досыта, — отрезала повитуха. — Хальгерд, принеси ей скира с мёдом. Пусть хоть к камню нагуляет.

— Змей любит с мясом? — я не удержалась.

Женщины затихли. Кто-то сделал знак молота. Тордис долго смотрела на меня снизу вверх своими выцветшими глазками, а потом вдруг хрипло рассмеялась.

— Змей любит, чтоб невеста знала, зачем идёт, — проворчала она, взяла с лавки шнур с узелками и стала мерить мне грудь. — А ты, я вижу, не знаешь.

— Знаю. Утонуть, — я пожала плечом.

— Утонуть любая дура может. — Шнур лёг под грудь, туго, и повитуха щёлкнула языком. — Невеста идёт к жениху. А что бывает между ними на ложе, тебе мать растолковать не успела. Значит, расскажу я.

Хальгерд охнула. Молодые зашептались. Старухи у стен оживились так, что одна даже перестала плакать.

— Тордис, — взмолилась я, чувствуя, что краснею, и злясь на себя за это. — Мне двадцать две зимы. Я знаю, откуда берутся дети.

— Откуда берутся, знает и коза, — фыркнула Тордис. — А вот как сделать, чтобы мужчина от тебя не ушёл до утра, коза не знает. — Она хлопнула меня по бедру так, что я подпрыгнула. — И ты не знаешь. Иначе Кольссонов парень давно бы тебя в свой дом увёл.

Тут засмеялись уже все. Даже Хальгерд прыснула в кулак.

Я стояла посреди дома в одной сорочке, красная как варёный рак, и слушала, как старая повитуха, принявшая половину Скальвика, учит меня быть невестой. Она говорила громко и спокойно, будто объясняла, как солить сельдь. Про то, что мужчина сначала глядит, а потом трогает, и что глядеть ему надо давать, не прятаться. Про то, что первый раз больно не всегда, а если и бывает, то недолго, и после приходит такая сладость, что про боль забываешь. Про то, что руки у женщины даны не только для иглы и ножа. Про то, где его трогать и как, медленно

или быстро, чтобы он забыл своё имя. Про то, что женщине тоже полагается своё удовольствие, и если мужчина о нём не думает, его надо научить, а если не учится, гнать из постели метлой.

Старухи вставляли своё, перебивая друг друга. Одна вспомнила, как её покойный муж в первую ночь от волнения упал с лежанки. Другая заявила, что все мужчины одинаковые и думают тем, что у них ниже пояса. Третья возразила, что её второй муж думал головой и был от этого только хуже.

Мне хотелось заткнуть уши и убежать. Но вместо этого слушала, и чем дальше, тем меньше мне было смешно. Потому что я вдруг представила это. Не с Бьярни, нет. С кем-то без лица, огромным и холодным, кто смотрит из темноты жёлтыми глазами. И от этой мысли у меня внизу живота стало горячо и стыдно, а соски под сорочкой затвердели, будто от холода, хотя в доме было жарко.

Я переступила с ноги на ногу. Тордис заметила. Она замечала всё.

— Вот, — удовлетворённо протянула повитуха. — Теперь хоть понимаешь, о чём я.

— Он змей, Тордис, — напомнила я. — Змеи не берут невест на лежанку. Змеи глотают.

— А ты почём знаешь? — хмыкнула старуха и сунула мне в руки миску со скиром, которую принесла Хальгерд. — Ты с ним разве ложилась?

— Тордис, постыдись! — Хальгерд всплеснула руками.

— А что Тордис? Я старая, мне можно. — Повитуха села на свою лавку и снова взялась за иглу. — Ешь, Торвальдова дочь. И слушай старую дуру. Невеста, которая идёт к жениху с ненавистью, в первую ночь ничего не получит, кроме боли. Хоть жених у неё человек, хоть кто.

Я ела скир и молчала. Мёд был горьковатым, вересковым. Женщины вокруг снова зашумели, заспорили о чём-то своём, а я сидела на краю лавки в одной сорочке, с миской на коленях, и думала, что за двадцать две зимы ни разу не позволила себе представить мужчину так, как представила сейчас. И что представила я не человека.

* * *

На третий день на крыше капища сел ворон.

Большой, иссиня-чёрный, с толстым клювом. Он появился на рассвете и просидел на коньке до самой темноты, а утром вернулся. Мальчишки кидали в него камнями, но он только перепрыгивал с места на место и смотрел вниз, на посёлок. На меня, как мне казалось.

— Это к добру, — объявил ярл. — Ворон Одина. Боги видят нашу жертву.

Я не была уверена, что хочу, чтобы боги её видели.

На пятый день я встретила у колодца купца в бобровой шапке. Он стоял один и пил из ковша, медленно, маленькими глотками, будто пробовал воду на вкус. Увидев меня, он опустил ковш и не отошёл, хотя я ждала, что отойдёт. Невесте уступают дорогу.

Вблизи он оказался моложе, чем я думала. Лицо гладкое, без морщин, глаза светлые, почти прозрачные, и смотрели они так, будто он уже где-то меня видел и теперь сверял.

— Ты похожа на сестру, — его голос был тихим и чуть насмешливым.

Я поставила ведро на сруб колодца.

— Ты знал мою сестру? — спросила я.

— Я видел её. Девять зим назад, на этом самом месте. — Он протянул мне ковш. — Она тоже не боялась. Ну, или делала вид. Ты делаешь вид?

— А тебе что за дело?

— Мне? — Он улыбнулся, и в улыбке не было ничего доброго. — Я привожу серебро. Мне любопытно, за что плачу.

— Ты платишь за то, чтобы девушку утопили.

— Я плачу за то, чтобы море было спокойным. — Купец забрал ковш назад, раз я его не взяла, и выплеснул воду себе под ноги. — Утонет ли девушка, решают не люди. Ты бы удивилась, Торвальдова дочь, как мало от нас зависит.

Он ушёл, не попрощавшись. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за домом ярла. На крыше капища ворон переступил с лапы на лапу и громко, хрипло каркнул.

В ту ночь я снова спустилась к воде.

Был прилив, гряду залило, и Хвостовой камень торчал из моря один, как обломок зуба. Я стояла у самой кромки и ждала. Ждала долго, пока не замёрзли руки под плащом. Потом позвала, негромко, сама не зная, каким именем зовут Змея, когда хотят, чтобы он ответил.

Море не ответило. Вода была чёрной и пустой до самого горизонта, без единого огонька. Я бросила камень, как в первую ночь. Он плюхнулся и пропал.

Злость, с которой я жила последние дни, вдруг стала обидой, глупой, детской. Он посмотрел на меня один раз и решил, что больше не стоит. Будто я не невеста, а так, рыбачка, которая шумит на берегу.

Я уже повернулась уходить, когда заметила пену. Вдоль всего берега, от капища до лодочных сараев, лежала свежая белая полоса, ровная, будто кто-то огромный прошёл под водой у самых камней и поднял её боком. Волн в ту ночь не было. Ветра тоже.

Полоса тянулась точно туда, где я стояла в первую ночь, и обрывалась у моих ног.

* * *

На седьмой день я застала отца в капище одного.

Он сидел на корточках у каменной плиты и скоблил её ножом, счищая старую кровь. Эту работу полагалось делать трэлям, но перед жертвой отец всегда брался за неё сам. Он говорил, что боги видят, чьими руками приготовлен их стол.

Я встала у входа. Он не обернулся, хотя слышал, как скрипнула дверь.

— Что ты вплёл мне в косу? — я не стала здороваться.

— Нить на удачу, — нож скрёб по камню ровно, без запинки.

— Я трогала её каждую ночь. Это кость или китовый ус. И на ней бороздки, я чувствую их пальцами. Это руна?

Он перестал скоблить. Посидел, глядя на плиту, потом медленно поднялся, вытер нож о штанину и сунул его в ножны.

— Ты обещала не расплетать.

— Я и не расплетала. Я спрашиваю.

— А я не отвечаю, — он подошёл ко мне и остановился так близко, что я почувствовала запах крови и железа от его рук. — Ингрид. Девять зим я смотрел на эту плиту и думал, как надо было поступить. Не проси меня объяснять. Узнаешь — захочешь всё переделать, а поздно.

— Что переделывать? Отец, что ты сделал?

Он поднял руку, будто хотел погладить меня по голове, и опустил её на полпути.

— Я сделал то, на что не решился в прошлый раз, — его голос был совсем тихим. — И больше об этом не спрашивай. Даже если я сам тебе всё скажу, ты мне не поверишь.

Он вышел из капища, оставив меня одну перед вычищенной плитой. На коньке крыши над моей головой хрипло закаркал ворон.

* * *

— Железо невесте нельзя, — прошептала Сольвейг, держа нож двумя пальцами, будто он был горячим. — Ни ножа, ни иглы, ни застёжки. Ты же знаешь. Море не любит железа.

— Море не любит, а мне нравится.

Мы сидели в дальнем конце нашего дома, за перегородкой, где когда-то спала Ранвейг. Старые трэли храпели у противоположной стены. Отец ушёл к ярлу на пир: каждую ночь из девяти ярл кормил гостей за счёт Змея, и годи должен был сидеть за столом. Меня на эти пиры не звали. Мне полагалось поститься, молиться и шить.

Я шила. Свадебная рубаха лежала у меня на коленях, вывернутая наизнанку, и я вшивала в её подол узкий потайной карман. Лён был тонким, приходилось брать нитку вдвое и класть стежки мелко, чтобы никто не заметил.

— Тебя обыщут, — не сдавалась Сольвейг. — Тордис обыщет. Она перед камнем всех обыскивает.

— Тордис посмотрит на волосы, на руки и на шею. В подол она не полезет. Она старая, ей нагибаться тяжело.

— А если полезет? — она всё не выпускала нож.

— Тогда я скажу, что это нож для Змея. Чтобы он подавился. — Я откусила нитку. — Дай сюда.

Сольвейг протянула мне нож рукоятью вперёд. Я вложила его в карман, примерила. Лезвие легло вдоль бедра, холодное даже сквозь две ткани. Я подогнула край, прошила ещё раз.

— Ты правда хочешь его убить? — голос у Сольвейг стал тихим, почти детским. — Змея?

— Я хочу, чтобы ему было больно. Хоть один раз. Хоть немного.

— А если он тебя сразу… — она не договорила.

— Значит, сразу.

Она долго молчала, глядя, как я разглаживаю шов. Потом взяла мою руку, ту, что держала иглу, и прижала к своей щеке. Щека у неё была мокрой.

— Я буду говорить твоё имя, — пообещала она, касаясь губами моих пальцев. — Каждую зиму, в Ночь Отлива. Вслух. Пусть хоть все услышат. Пусть хоть сам Змей придёт. Ингрид Торвальдсдоттир. Я не дам им тебя забыть, как забыли её.

Я хотела что-нибудь ответить, но горло перехватило. Тогда я обняла её, крепко, неловко, и мы сидели так, пока за стеной не залаяли собаки и не послышались голоса: пир у ярла кончился, люди расходились по домам.

* * *

Девятую ночь невеста проводит одна. Так велит обычай. Отец ушёл в капище и должен был провести там всю ночь у плиты. Трэлей он отправил ночевать к соседям. Дом стоял пустой, тёмный и гулкий, огонь в очаге догорал, и я сидела перед ним в свадебной рубахе, которую меня заставили надеть заранее, чтобы она «привыкла к телу».

Лён был холодным и скользким. Он лежал на мне так тонко, что я чувствовала каждую нитку вышивки на груди и на бёдрах. Я никогда не носила такой ткани. В ней я казалась себе голой.

В дверь постучали тихо, три раза.

Я знала, кто это. Знала ещё до того, как встала. Невесте запрещено видеть мужчин в девятую ночь, но придумали это старики, которым не нужно было ни с кем прощаться.

Я открыла.

Бьярни стоял на пороге без плаща, в одной рубахе, хотя на улице был мороз. Волосы у него были мокрыми: должно быть, он окунулся в море, прежде чем прийти, как окунаются перед жертвой. Он увидел меня в свадебной рубахе и застыл, будто его ударили.

— Ты простудишься, — я отступила, пропуская его. — Входи, пока никто не видел.

Он вошёл. Я закрыла дверь. Мы стояли посреди тёмного дома, и он глядел на меня так, как никогда раньше. Не как кормчий на девушку, за которой ухаживает. Как мужчина на женщину, которую у него отнимают.

— Я принёс тебе кое-что, — он разжал кулак.

На его ладони лежал молоточек Тора на кожаном шнурке. Серебряный, маленький, тёплый от его руки. Такой носил его отец, а до отца дед.

— Бьярни, мне нельзя, — запротестовала я. — Никакого металла.

— Это серебро, а не железо.

— Всё равно не положено.

— Тордис не узнает, — возразил он и шагнул ближе и, не спрашивая, надел шнурок мне на шею. Молоточек скользнул под рубаху и лёг между грудей, тёплый. — Тор бил Змея. Пусть хоть кусочек Тора будет с тобой у камня.

Его пальцы задержались у моей шеи. Потом поднялись выше, к лицу. Он взял его в ладони, обеими руками, осторожно, будто боялся разбить.

— Я молился все восемь ночей, — прошептал он совсем близко. — Тор не ответил.

— Боги не отвечают.

— Тогда ответь ты.

И он поцеловал меня.

Губы у него были холодными от моря и солёными. Он целовал неумело и жадно, как человек, который давно этого хотел и не верил, что получит. Его руки соскользнули с моего лица на плечи, потом на спину, прижали меня к нему. Сквозь тонкий лён я чувствовала его тело: твёрдое, горячее, дрожащее. Он застонал мне в рот, тихо, почти жалобно, и одна его ладонь поползла вниз, к пояснице, к бедру, туда, где под тканью прятался нож.

Я ответила на поцелуй. Сама не знаю зачем. Может, потому что это был последний поцелуй в моей жизни и мне хотелось узнать, каково это. Может, потому что он был тёплым, а я мёрзла. Я обняла его за шею, приоткрыла губы, и он вздрогнул всем телом.

И всё это время я ждала. Ждала того горячего и стыдного внизу живота, которое пришло ко мне в доме Тордис, когда я представила себе глаза в темноте.

Оно не пришло.

Было тепло. Было приятно. Было так, как должно быть с хорошим мужчиной, который тебя любит. Но где-то внутри меня что-то стояло на берегу и смотрело на воду, и ждало другого.

Его пальцы нащупали под тканью рукоять ножа. Он замер.

Я отстранилась первой. Положила ладони ему на грудь и мягко оттолкнула. Он отпустил сразу, хотя дышал тяжело, и в темноте я видела, как блестят его глаза.

— Нет, Бьярни.

— Почему? — Он не сердился, а спрашивал, как ребёнок. — Завтра тебя не будет. Почему нет?

— Потому что завтра меня не будет. — Я убрала его руку со своего бедра, туда, где был нож. — А ты останешься. И будешь помнить. Я не хочу, чтобы ты всю жизнь помнил одну ночь с утопленницей.

— Я и так буду помнить, — пробормотал он.

— Тогда помни поцелуй. Его хватит.

Он стоял, опустив руки. Потом кивнул, медленно, будто голова у него стала тяжёлой.

— Ты взяла нож.

— Взяла, раз уж ты его нащупал.

— Хорошо, — он вдруг коротко, зло засмеялся. — Ударь его хорошенько. За меня тоже.

Он ушёл так же тихо, как пришёл. Я стояла у двери, пока его шаги не затихли на мёрзлой тропе. Потом вернулась к очагу, села на скамью и сняла с шеи молоточек Тора. Долго держала его на ладони, глядя, как в серебре отражаются угли.

Потом всё-таки надела обратно.

* * *

На рассвете за мной пришли женщины.

Невесту перед камнем моют в море. Не в бане, не в бочке, а в самом море, на мелководье у капища, где вода ледяная до ломоты в костях. Так невеста знакомится с домом жениха. Так говорит Тордис.

Меня раздели догола на берегу, при всех женщинах посёлка, и повели в воду. Галька резала ступни. Первая волна обожгла колени так, что я задохнулась. Вторая дошла до бёдер, и я закусила губу до крови, чтобы не закричать. Хальгерд и ещё две женщины зачерпывали воду ладонями и лили мне на плечи, на грудь, на спину, на живот, бормоча старые слова. Соски у меня сжались до боли, кожа покрылась пупырышками, и я перестала чувствовать ноги.

Тордис стояла на берегу, закутанная в три платка, и смотрела.

— Косу не мочи! — крикнула она. — Отец не велел.

Значит, она знала про косу. Знала, что отец в неё вплёл. Или не знала, но исполнила просьбу без вопросов, как всегда поступала с тем, о чём просил годи.

Потом меня вывели на берег, растёрли грубыми полотенцами докрасна и умастили. Масло пахло можжевельником и чем-то сладким, чего я не знала. Женщины втирали его мне в плечи, в руки, в ноги, в живот, деловито и быстро, будто смазывали лодку перед спуском, и всё-таки от их рук кожа начинала гореть. Потом надели на меня рубаху, ту самую, с потайным карманом. Нож лёг вдоль бедра. Никто не заметил.

Тордис подошла последней. Она осмотрела мои волосы, руки, шею. Нашла шнурок от молоточка, приподняла его пальцем, посмотрела мне в глаза. Я не отвела взгляда. Повитуха хмыкнула и спрятала шнурок обратно мне под ворот.

Потом она приподнялась на цыпочки и зашептала мне в самое ухо, так, чтобы не слышал никто другой:

— Моя бабка говорила, что при её бабке было иначе. Что тогда невест не приковывали. Что они сами шли к камню, а за ними выходил жених. Не змей. Мужчина. Высокий, с глазами как у кошки, и на коже у него блестела чешуя.

Я отшатнулась. Тордис держала меня за рукав.

— Это сказки, — шепнула она, и дыхание её пахло луком и старостью. — Бабкины выдумки. Но если увидишь его, Торвальдова дочь, вспомни всё, чему я тебя учила.

Она отпустила меня и пошла вверх по берегу, к посёлку, тяжело переставляя ноги в трёх парах шерстяных чулок.

А я стояла на гальке в свадебной рубахе, пахнущая можжевельником, с ножом у бедра, с молоточком Тора между грудей и с отцовской нитью в косе, и смотрела на Хвостовой камень. До отлива оставалось полдня.

Глава 3. Хвостовой камень

Ночь Зимнего Отлива приходит раз в девять зим, когда луна и солнце сходятся так, что море уходит дальше, чем в любую другую ночь. Гряда к Хвостовому камню обнажается вся, от берега до самого кольца, и по ней можно пройти, не замочив ног. Можно, если не поскользнёшься на водорослях. Старики говорят, это Змей разжимает кольцо и втягивает воду в себя, чтобы невеста дошла к нему посуху.

Весь тот день я ждала вечера, и день не кончался.

После омовения меня отвели домой и посадили у очага. Есть невесте нельзя, пить можно только морскую воду, три глотка, из бронзовой чаши годи. Отец поднёс мне чашу сам, глядя в сторону. Вода была горькой и обожгла горло, и я подумала, что так, наверное, и начинается: сначала глоток, потом три, потом всё море.

К полудню пришла Сольвейг. Она принесла золотые ленты, которые купил для невесты ярл, и вплела их мне в волосы поверх отцовской косы, осторожно, не распуская ни одной пряди. Пальцы у неё дрожали.

— Тебе идёт золото, — шепнула она и сразу отвернулась.

— Сольвейг, посмотри на меня, — попросила я.

Она не посмотрела. Она поцеловала меня в макушку, туда, где начиналась коса, и выбежала из дома, не закрыв за собой дверь. Я слышала, как она плачет за углом, у поленницы, громко, некрасиво, как плачут дети.

Потом начали приходить другие. Невеста в последний день приносит удачу, и каждый в Скальвике хотел до меня дотронуться. Рыбаки трогали мой рукав, чтобы рыба шла в сети. Женщины касались подола, чтобы родить сыновей. Девушки, которых обошла руна, гладили меня по волосам и благодарили, и в глазах у них было такое облегчение, что мне хотелось ударить каждую. Старый Грим, отец Аси, принёс мне сушёную треску и положил её на колени, будто я могла её съесть. Я сидела, как резной идол в капище, а чужие пальцы всё тянулись ко мне без конца.

Отец стоял у двери и смотрел на всех так, что никто не задерживался.

Когда солнце опустилось к краю фьорда, за мной пришёл ярл. Он вошёл в наш дом в синем плаще, с серебряной застёжкой на плече, в сопровождении своих хирдманнов и купца в бобровой шапке. Купец остановился у порога и обвёл взглядом дом: голые стены, остывающий очаг, меня в белом льне. Будто оценивал, сколько всё это стоит.

— Пора, невеста, — объявил ярл и протянул мне руку в перстнях. — Море ждёт.

— Море подождёт, пока я встану сама, — я поднялась без его руки.

Ярл не обиделся. За все девять ночей он ни разу не рассердился на меня всерьёз, и я наконец поняла почему. На мёртвых не обижаются.

Мы вышли из дома, и весь посёлок двинулся за нами к берегу. Ворон снялся с крыши капища и полетел над нашими головами, низко, неторопливо, будто показывал дорогу.

Я шла по гряде босиком.

Обуви невесте не полагается. Плаща тоже, но Тордис накинула мне на плечи свой, старый, вонючий, пока мы шли через посёлок, и сняла его только на берегу. Теперь на мне оставалась одна свадебная рубаха, и ветер с моря продувал её насквозь, будто я и вовсе была голой. Золотые ленты в волосах хлопали меня по щекам. Камни под ногами были ледяными и склизкими, и я старалась ступать на ракушки: они кололи, зато держали.

Отец шёл впереди. На плече у него висела цепь, тяжёлая, ржавая, с железным браслетом на конце. Он нёс её так, как носят дрова, не оглядываясь. Позади, на берегу, стоял весь Скальвик. Я не оборачивалась, но знала, кто где. Ярл Хакон в синем плаще с южной застёжкой.

Купец в бобровой шапке рядом с ним. Сольвейг с матерью. Тордис. Бьярни, который пришёл, хотя обещал не приходить.

У каждого был факел. Когда я оглянулась на полпути, берег светился длинной цепочкой огней, будто кто-то обронил ожерелье.

Перед грядой Тордис меня обыскала. Как я и думала, она посмотрела на волосы, на руки, на шею. Поддела пальцем шнурок от молоточка и снова спрятала его, не сказав ни слова. В подол она не полезла. Нож лежал вдоль бедра, и с каждым шагом лезвие холодило кожу сквозь карман.

Хвостовой камень вблизи оказался больше, чем казался с берега. Выше моего роста в два раза, чёрный, шершавый, покрытый мелкими раковинами и бородой водорослей у основания. От него пахло солью, гнилью и чем-то ещё, острым, металлическим, как пахнет воздух перед грозой. Железное кольцо было вбито в камень на высоте моего пояса. Ржавчина на нём лежала толстыми рыжими чешуйками.

Отец остановился у камня и снял цепь с плеча. Пропустил её конец через кольцо, защёлкнул замок. Потом взял меня за левую руку.

Браслет обжёг холодом так, что у меня свело запястье. Отец застегнул его, проверил, не слишком ли туго, и подвигал пальцем, чтобы между железом и кожей осталось место. Руки у него снова не дрожали.

— Отец, подожди.

Он поднял на меня глаза. В темноте они казались чёрными.

— Не бойся воды, — шепнул он, почти не шевеля ртом, будто опасался, что с берега прочтут по губам. — Когда станет нечем дышать, дыши.

— Что ты говоришь?

— Дыши, Ингрид. Не держи в себе. Вдохни море, как воздух. Обещай.

— Ты всё время просишь меня обещать, — голос у меня сорвался. — Хоть раз объясни.

Он взял моё лицо в ладони, как Бьярни в девятую ночь. Только у отца руки были сухими и пахли дёгтем от цепи. Он поцеловал меня в лоб, долго, крепко, и я почувствовала, как его борода царапает мне брови.

— Ты похожа на мать, — выдохнул он. — Не на Ранвейг. На мать.

Потом он отпустил меня и пошёл обратно по гряде. Не оглянулся ни разу. Я смотрела ему в спину, пока он не дошёл до берега и не встал среди огней.

С берега донёсся крик. Кто-то звал меня по имени, громко, надсадно, и я узнала голос Бьярни раньше, чем разобрала слова. Двое хирдманнов ярла схватили его за плечи. Он рвался, и факел в его руке мотался, разбрасывая искры. Потом к нему подошёл его отец, старый Коль, шепнул что-то на ухо, и Бьярни затих. Он стоял, опустив голову, а факел догорал у него в кулаке.

Я подняла скованную руку и помахала ему. Цепь звякнула о камень. Не знаю, увидел ли он.

Потом огни запели.

* * *

Песню невесты я знала с детства. Её поют на каждом жребии, медленно, в один голос, и слова в ней старые, некоторые никто уже не понимает. Про кольцо, которое держит мир. Про хвост во рту. Про деву, которая идёт к жениху в белом. Девять зим назад я пела её вместе со всеми и не могла допеть, потому что плакала. Теперь её пели для меня.

Вода начала возвращаться почти сразу.

Сначала я её не видела, только слышала: тихое шипение вокруг камня, будто кто-то медленно выпускал воздух сквозь зубы. Потом между камнями гряды заблестело. Потом вода коснулась моих пальцев на ногах, и я вскрикнула, так она была холодна.

Я прижалась спиной к камню. Цепь звякнула.

Вода поднималась быстрее, чем я думала. Она обняла щиколотки, потом колени. Подол рубахи намок и потяжелел, облепил ноги. Ноги я перестала чувствовать почти сразу, будто их отрезали. Холод пополз выше, к бёдрам, к животу, и от него внутри всё сжималось в комок.

На берегу пели. Огни отражались в воде длинными дрожащими дорожками.

— Ну? — крикнула я и не узнала собственного голоса. — Где ты? Я пришла. Сама. Как обещала.

Море шипело вокруг камня.

— Ты смотрел на меня! — Я кричала уже в полную силу, и мне было всё равно, что слышат на берегу. — Девять ночей назад ты смотрел на меня из воды! Так выходи! Посмотри мне в лицо!

Вода дошла до пояса. Я сунула правую руку в подол, нащупала карман, вытащила нож. Рукоять скользила в онемевших пальцах. Я сжала её так, что заболели костяшки.

И вот тогда пришёл страх.

Он пришёл не так, как я ждала. Не криком, не слезами. Он пришёл тихо, снизу, вместе с водой, и заполнил меня всю, от онемевших ступней до горла. Я вдруг поняла, что умру. Не когда-нибудь. Сейчас. Через несколько вдохов. Что вода дойдёт до подбородка, потом до рта, потом до глаз, и огни на берегу задрожат сквозь воду, как дрожали для Ранвейг, а потом погаснут совсем.

Я не хотела умирать. Я мечтала убить Змея, плюнуть ему в морду, но сильнее ненависти и злости во мне было одно: жить.

Вода дошла до груди. Молоточек Тора всплыл из-под ворота и закачался на поверхности на своём шнурке. Сердце билось так, что отдавалось в ушах.

— Ранвейг, — позвала я её шёпотом в холодную воду. — Мне страшно.

Вода дошла до шеи. Я запрокинула голову, как она тогда. Над водой осталось одно лицо, и лунный свет бил мне в глаза, и где-то на берегу песня невесты дошла до последнего куплета, того, где дева ложится в море, как на ложе.

Я набрала в грудь столько воздуха, сколько смогла. И вода сомкнулась над моей головой.

* * *

Под водой было темно и тихо.

Песня оборвалась, как обрезанная. Остался только гул в ушах и стук сердца. Холод больше не жёг: он просто был, везде, внутри и снаружи. Я висела у камня на цепи, коса всплыла и колыхалась надо мной, рубаха раздулась белым облаком. Я держала воздух изо всех сил, пока в груди не начало гореть.

«Когда станет нечем дышать, дыши».

Я не могла. Это было против всего, что знает тело. Рыбаки, которые тонут, держат воздух до последнего, а потом вдыхают воду и умирают. Я видела утопленников. Я знала, как это бывает.

Огонь в груди стал невыносимым. Перед глазами поплыли красные пятна. Пальцы на рукояти ножа разжимались сами собой.

И тут что-то коснулось моей ноги.

Не рыба. Не водоросль. Что-то тонкое, мягкое, похожее на волосы, только длиннее и прочнее. Оно скользнуло по щиколотке и обвило икру, потом второе такое же оплело другую ногу. Потом третье легло мне на пояс. Я дёрнулась, и они затянулись туже.

Я опустила глаза. Внизу, в темноте под камнем, слабо светилось. Свет был бледно-зелёным, мертвенным, и в нём я увидела сеть. Огромную, уходящую во все стороны, сплетённую из тысяч тонких светящихся нитей. Она шла ко мне снизу, медленно, широко, как тянут невод с рыбой. Её края уже обнимали мои ноги и бёдра. Ещё немного, и она накроет меня всю.

Цепь звякнула. Браслет на запястье щёлкнул и раскрылся сам собой, будто его отперли изнутри. Сеть потянула меня вниз и в сторону, прочь от камня, в зелёную мерцающую глубину.

Это был не Змей. Я поняла это сразу, всем телом, хотя не знала почему. Змей смотрел на меня жёлтыми глазами, в которых не было голода. А у этого не было глаз. Было только тянущее, бездушное, как у невода, которому всё равно, что в него попало.

Я ударила ножом. Лезвие прошло сквозь нити, как через воду, не разрезав ни одной.

Воздух во мне кончился.

Я вдохнула.

Море хлынуло в рот, в горло, в грудь, ледяное, солёное, тяжёлое. Меня скрутило так, что я выронила нож. Тело билось, выплёвывая воду, и тут же снова втягивало её, потому что ничего другого вокруг не было. Я тонула по-настоящему, и сеть тащила меня вниз, и последнее, что я успела подумать, было: «Отец, ты обманул меня».

И тогда моя коса вспыхнула.

Не огнём. Белым, жарким, нестерпимым светом, который бил из-под волос, оттуда, где отец вплёл свою нить на удачу. Я почувствовала жар на затылке, потом на шее, потом он прокатился по всему телу волной, от макушки до пяток. Там, где светящиеся нити сети касались моих волос, они шипели, чернели и лопались. Одна, другая, десятая. Сеть дёрнулась, как живая, словно ей было больно. Нити на моих ногах ослабли. Я рванулась, и они порвались с тихим звоном, как рвутся струны.

Я была свободна. Я висела в чёрной воде, с полной грудью моря, и свет в моей косе медленно гас.

И вода вокруг меня шевельнулась.

Что-то огромное двигалось рядом. Я не видела его, но чувствовала, как давит вода, как она течёт мимо меня, увлекая за собой, будто мимо проходит целая гора. Потом свет из косы выхватил кусок этой горы, всего на миг, и я увидела чешую. Каждая чешуйка была больше моей ладони, тёмная, с зелёным отливом, гладкая, как полированный камень. Они шли и шли мимо меня, ряд за рядом, без конца.

Потом движение остановилось.

Прямо передо мной в темноте открылся глаз.

Он был жёлтым, светящимся изнутри, с узким чёрным зрачком, и он был так близко, что я могла бы дотронуться до него рукой. Зрачок медленно расширился, будто разглядывая меня. Я видела в нём своё отражение: маленькую белую фигурку с распущенной косой, в облаке рубахи.

Мне больше не было больно. Море в груди перестало жечь. Оно было холодным и спокойным, и я дышала им, медленно, будто всегда так умела.

Глаз моргнул. Тёмное веко опустилось сверху вниз и поднялось снова.

Что-то коснулось меня снизу. Не сеть. Гладкое, прохладное, широкое, как спина кита, только живое и тёплое изнутри, будто под холодной чешуёй горел очаг. Оно поднялось подо мной и приняло меня на себя, бережно, как принимают на руки уснувшего ребёнка. Я лежала на нём, раскинув руки, и чувствовала, как под ладонями медленно перекатываются мышцы, огромные, как холмы. Оно не сжимало меня. Оно держало.

Мне вдруг стало тепло, впервые с тех пор, как вода коснулась моих ног. Тепло шло от него ко мне сквозь рубаху и кожу, внутрь, в живот, в грудь, полную моря. Онемевшие пальцы закололо. Испугаться не получилось. Я подумала о ноже и вспомнила, что выронила его. Попробовала что-нибудь сказать, но во рту было море.

Глаз всё смотрел на меня, не мигая, и мне показалось, что в нём, в этом огромном светящемся янтаре, что-то дрогнуло. Будто тот, кто смотрел, удивился.

А потом стало совсем темно.

* * *

Интерлюдия. Ран

В чертоге Ран под северным морем никогда не бывает тихо. Там звенят колокольчики утопленников, которые она вплетает себе в волосы. Там шуршат сети, развешанные вдоль стен из китовых рёбер. Там плачут те, кого море забрало недавно и кто ещё не понял, что больше не нужно плакать.

Ран сидела у своего ткацкого стана и перебирала нити, длинные, влажные, тонкие, как волос утопленницы. Она ткала из них много веков, и каждая нить знала, что творится на её конце. Она была высокой, белой, как пена у скал, и такой же холодной. Волосы у неё были длинные, зеленовато-серые, и в них блестели обручальные кольца, сорванные с пальцев утонувших моряков. Глаза её были цвета воды подо льдом. Эгир, её муж, давно спал в своём углу, пьяный от собственного пива, и храпел так, что дрожали раковины на потолке.

Нить порвалась у неё под пальцами.

Ран замерла. Она подняла порванный конец к глазам. Он был обуглен, чёрен и пах так, как не пахнет ничто в море. Жжёной костью. Рунной кровью. Колдовством, которое резали руками, а не пели губами.

Она встала. Стан качнулся, и тысячи нитей, натянутых на нём, зазвенели. Каждая вела в какую-то часть моря: к рыбацким лодкам, к торговым кораблям, к шхерам, где разбиваются драккары. И одна, древнейшая и самая крепкая, вела к Хвостовому камню. Её Ран натягивала раз в девять зим уже столько веков, что сбилась со счёта.

Сейчас эта нить висела оборванной. За все века такого не случалось ни разу. Девушки бились в сети, кричали, звали матерей и богов, но нить держала всех, и все уходили туда, куда велел Одноглазый.

Ран провела по ней пальцами. Почувствовала под водой у камня пустоту там, где должна была биться пойманная девушка. Различила обрывки сети, которые медленно опускались на дно, гаснущие, мёртвые. И уловила ещё кое-что. Огромное, древнее, свернувшееся кольцом вокруг всего мира. Впервые за много веков оно шевельнулось у самого камня и что-то взяло.

Ран медленно улыбнулась. Улыбка у неё была красивой и страшной, как гребень волны, которая сейчас опрокинет лодку.

— Ну надо же, — её голос прозвучал в пустом чертоге, как звон утопленничьих колокольчиков. — Кто-то наконец обманул Одноглазого.

Эгир всхрапнул и перевернулся на другой бок.

Ран намотала обрывок нити на палец. Подумала о вороне, который девять ночей сидел на крыше капища в Скальвике. О купце с прозрачными глазами, который каждые девять зим привозил серебро. О Всеотце, который сейчас, наверное, пока не знает, но к утру проведает, потому что от него ничто не укроется дольше одной ночи.

Договор с Одином был старым. Он кормил её и её дочерей, давал ей власть над нитью к Хвостовому камню, серебро и почёт за столом асов на пирах. Но договор этот она заключила не по доброй воле, и с каждой девятой зимой он нравился ей всё меньше.

— Что ты там бормочешь? — Эгир заворочался в своём углу и сел, огромный, седобородый, с медным ковшом в кулаке. Ковш он не выпускал даже во сне. — Опять кто-то утонул?

— Наоборот, — Ран не обернулась. — Кто-то не утонул.

Он долго моргал, соображая. Пиво у Эгира крепкое, и думать после него бывает трудно даже богу.

— Хвостовой камень? — наконец догадался он и поставил ковш на пол. — Девять зим уже прошло? Быстро.

— Для тебя всё быстро. Ты спишь между пирами.

— А ты не спишь вовсе, — проворчал он и почесал бороду. — Ну, порвалась нить. Завяжи. Одноглазый пришлёт гонца, будет злиться, а мне в следующий раз накрывать асам стол. Не хочу, чтобы Тор опять перебил всю посуду.

Ран повернулась к нему. В её волосах тихо звякнули обручальные кольца.

— Её не я упустила, Эгир. Её забрал он.

Эгир замер. Даже пьяный, он понял, о ком она говорит. В море был только один, кого называли просто «он», не боясь, что спутают.

— Змей никогда не брал невест, — голос у старого великана стал трезвым. — Ни разу. Он даже не подплывал к камню. Ты сама говорила.

— Говорила. А сегодня подплыл.

— И что теперь?

— Теперь? — Ран снова посмотрела на оборванную нить и улыбнулась так, что Эгир невольно отодвинулся. — Теперь, муж мой, впервые за много веков стало интересно.

Он хотел что-то возразить, но передумал. Подобрал свой ковш, улёгся обратно и отвернулся к стене. С женой, которая так улыбается, Эгир не спорил никогда.

Она вернулась к стану и села. Порванную нить привязывать не стала.

— Ну, сын Локи, — она коснулась пальцами пустоты там, где кончалась нить. — Поглядим, что ты с ней сделаешь.

Глава 4. Чертог Отлива

Первым вернулся звук. Где-то рядом капала вода, медленно, ровно, и каждая капля падала в другую воду с тихим звоном, как падает монета в чашу. Потом вернулся холод, но другой, не морской: озноб мокрой ткани на горячей коже. Потом мне стало плохо.

Я перевернулась на бок, и меня вырвало морем. Вода шла из меня горлом и носом, солёная, горькая, бесконечная, и я давилась ею, кашляла, плевалась, а она всё шла и шла, пока внутри не стало пусто и не заболели рёбра. Я лежала, уткнувшись лбом во что-то мягкое и мокрое, и хватала ртом воздух. Он был тёплым, влажным и пах солью, водорослями и чем-то пряным, незнакомым, похожим на запах нагретого камня после грозы.

Я дышала. Не морем, а воздухом.

Я открыла глаза.

Подо мной были шкуры, тюленьи, мягкие, серые с тёмными пятнами, мокрые от того, что из меня вылилось. Шкуры лежали на широком возвышении из гладкого белого камня. Нет, не камня. Это была кость. Огромная, отполированная до блеска, с узором из прожилок, похожим на годовые кольца в срезе дерева. Китовая кость. Такая большая, что из неё вырезали целое ложе.

Я подняла голову.

Зал был высоким, выше любого дома, который я видела, выше капища, выше ярлова пиршественного зала, куда меня однажды водил отец. Его стены поднимались вверх изогнутыми белыми дугами, и я не сразу поняла, что это рёбра. Кита, или чего-то большего, чем кит. Между рёбрами переливалось перламутром что-то гладкое, раковины или их осколки, вмазанные в стены так плотно, что не было видно швов. Пол был выложен ими же, белыми, розовыми, серыми, и блестел, как мокрая галька.

А за рёбрами было море.

Оно стояло стеной. Тёмно-синее, почти чёрное вдали и прозрачно-зелёное вблизи, оно поднималось до самого свода и не проливалось ни каплей. В нём проплывали рыбы, серебряные, медленные, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Колыхались водоросли. Вдалеке прошла какая-то тень, большая, плавная, и исчезла. Над каждой аркой между рёбрами светилась руна. Я узнала некоторые: «вода», «граница», «держать». Они горели тусклым зеленоватым светом, и я поняла, что это они не пускают море внутрь.

Свет шёл не только от рун. По стенам стояли чаши из больших раковин, и в каждой плавало что-то светящееся, медленно пульсируя: медузы, голубые, розовые, белые. От них по залу бродили мягкие дрожащие тени.

Я сидела на китовой кости в мокрой свадебной рубахе посреди подводного зала и не могла понять, умерла я или нет.

— Ты не умерла.

Голос шёл из темноты в дальнем конце зала. Низкий, неторопливый, чуть шершавый, будто им давно не пользовались. Я вздрогнула так, что шкуры поехали подо мной.

Там стояло кресло, тоже из кости, высокое, с резной спинкой, и в нём кто-то сидел. Свет медуз туда почти не доставал. Я видела только очертания: широкие плечи, длинные руки на подлокотниках, наклон головы. И глаза. Два жёлтых огонька в темноте, с узкими чёрными прорезями посередине.

Я знала эти глаза. Я видела их с берега, огромные, как дом. Теперь они были величиной с человеческие, но это были те же глаза.

— Ты, — у меня сел голос, и пришлось начать снова. — Ты Змей.

— Так меня зовут люди.

Он поднялся.

Он оказался огромным. Не как Бьярни, которого в Скальвике считали великаном, а выше на голову, если не больше, и шире в плечах. Он вышел из тени, медленно, босиком, по перламутровому полу, и свет медуз лёг на него.

Он был похож на человека. Почти. Высокий, тяжёлый, весь из длинных мускулов, которые ходили под кожей при каждом шаге, как волны под гладкой водой. На нём не было рубахи, только штаны из чёрной кожи, низко сидевшие на бёдрах. Кожа у него была светлее моей, с лёгким зеленоватым отсветом, как у утопленника, только живая. Волосы чёрные, длинные, до середины спины, распущенные, и в них переливался тот же зелёный отлив, что я видела на чешуе под водой. Лицо резкое, скуластое, с прямым носом и тяжёлым подбородком. Красивое, если бы не глаза. Хотя нет. Красивое и с глазами.

Когда он повернулся, чтобы обойти раковину с медузами, я увидела его спину. Вдоль позвоночника, от затылка до пояса, тянулась полоса чешуи, тёмной, мелкой, плотно пригнанной, как кольчуга. Она блестела, когда он двигался. Чешуя была и на висках, тонкой полоской у самых волос, и на запястьях, будто браслеты.

Он остановился в нескольких шагах от ложа и посмотрел на меня.

Я поняла, как выгляжу, только когда увидела, куда он смотрит. Свадебная рубаха была мокрой насквозь. Тонкий лён, через который просвечивал огонь в доме Тордис, теперь облепил меня, как вторая кожа, и не скрывал ничего. Ни грудь, ни соски, сжавшиеся от холода, ни живот, ни тёмный треугольник между бёдер. Я была перед ним всё равно что голой.

Он смотрел спокойно. Не жадно, как пялился бы мужчина в Скальвике. Не стыдливо, как отвёл бы глаза Бьярни. Он смотрел так, будто изучал меня, медленно, внимательно, сверху вниз и снова вверх, и от этого взгляда у меня по коже пошли мурашки, которые не имели никакого отношения к холоду.

Я подтянула колени к груди и обхватила их руками.

— Ты замёрзла, — заметил он ровным голосом.

— Я невеста. Нам положено мёрзнуть, — огрызнулась я.

Он не ответил. Подошёл к креслу, снял с его спинки что-то тёмное, тяжёлое и вернулся. Это был плащ, подбитый мехом, огромный, как парус. Он протянул его мне, держа на вытянутой руке, и не подошёл ближе, чем было нужно, чтобы я могла дотянуться.

Я не взяла.

— Где мой нож?

Он чуть наклонил голову, по-змеиному, и чешуя у него на виске блеснула.

— Справа от тебя.

Я посмотрела. Нож лежал на шкурах рядом со мной, у самого края ложа. Мой разделочный нож, с потёртой рукоятью из оленьего рога, с зазубриной у острия, которую я так и не сточила. Мокрый, но целый. Я же выронила его под водой, я точно помнила.

— Ты его подобрал, — я не спрашивала.

— Он лежал на дне у камня. Ты его искала.

— Я его не искала. Я тонула, — возразила я.

— Ты тянула к нему руку, когда я тебя поднял, — пояснил он, всё ещё держа плащ на весу. — Ты очень хотела его вернуть.

Я схватила нож. Рукоять легла в ладонь привычно, и от этого стало немного легче. Я встала на ложе на колени, выставив лезвие перед собой. Мокрая рубаха липла к ногам.

— Не подходи ко мне.

Он и не подходил. Замер на месте, с плащом в руке, и смотрел то на нож, то на моё лицо.

— Ты хочешь меня убить, — это прозвучало не как вопрос.

— Хочу. Больше всего на свете.

— За что? — спросил он.

У меня перехватило дыхание. Он спрашивал, за что. Девять зим, жребий, ленты, камень, вода до горла, а он стоял передо мной, огромный, полуголый, с чешуёй на висках, и не понимал.

— Девять зим назад, — голос у меня дрожал и срывался. — Девять зим назад ты забрал мою сестру. Её звали Ранвейг. Ей было двадцать два. Она стояла у этого же камня, в такой же рубахе, и вода дошла ей до горла, и она запрокинула голову, и больше её никто не видел. А до неё ты забрал ещё девушку, и ещё, и ещё, столько, что никто уже не помнит. Каждые девять зим. Ты спрашиваешь почему?

Его глаза сузились. Чешуйки на запястьях потемнели, будто на них упала тень.

— Я не знаю никакой Ранвейг.

— Лжёшь! — выкрикнула я.

— Я не лгу, — его голос стал тише и твёрже. — Никогда. Это единственное, чего я не делаю.

Я засмеялась. Смех вышел страшный, лающий, со слезами.

— Змей, который не лжёт. Ты Змей Мидгарда. Сын Локи. Сын того, кто солгал всем девяти мирам. И ты будешь говорить мне, что не лжёшь?

Он молчал. Долго. Потом медленно опустил плащ на пол и шагнул ко мне.

Я ударила.

Я не целилась. Тело само знало, куда бить: так режут горло тюленю, снизу вверх, под челюсть, быстро, чтобы не мучился. Лезвие вошло ему в шею сбоку, туда, где под кожей бьётся жила, легко, до самой рукояти. Я ощутила, как оно прорезает мясо, как из раны хлынуло мне на руку, на запястье, на рубаху.

Он не остановил меня.

Вот что я поняла потом, гораздо позже, лёжа без сна в его чертоге. Он видел удар. Он был быстрее меня, сильнее меня, он мог перехватить мою руку, сломать её, отшвырнуть меня через весь зал. Он не сделал ничего. Он стоял и позволил мне всадить нож себе в горло.

Кровь у него была тёмной. Почти чёрной, с зелёным отблеском в свете медуз. И холодной, как морская вода. Она текла по моим пальцам, и там, где касалась кожи, кожу начинало покалывать, а потом жечь, несильно, будто я сунула руку в крапиву.

Он смотрел на меня сверху вниз. Нож торчал у него из шеи. Его лицо не изменилось.

Потом он поднял руку, взял меня за запястье, ту руку, что держала нож, и медленно, без усилия, вытащил лезвие из своей шеи моей же рукой. Нож вышел с тихим чавкающим звуком. Из раны плеснуло ещё раз, на мою грудь, на вышитые волны на рубахе, и тут же перестало.

Я смотрела, как рана закрывается. Края её сходились, медленно, как смыкается вода над брошенным камнем. Под тонкой новой кожей проступили чешуйки, мелкие, тёмные, и улеглись ровным рядом. Через несколько вдохов на его шее остался только узкий тёмный след, будто от старого шрама, и чёрные потёки крови на груди.

Он всё ещё держал меня за запястье. Его пальцы были холодными, но не ледяными. Я чувствовала, как под ними бьётся моя кровь, часто, панически.

— Тебе стало легче? — спросил он так просто, будто справлялся, не голодна ли я.

Я молчала. Нож дрожал в моей руке. Его кровь жгла мне пальцы.

— Ни капли, — выдавила я наконец.

— Мне тоже, — признал он и отпустил моё запястье. — Ты ударила хорошо. Сильно и правильно. Человека бы убила.

Он отступил на шаг, подобрал с пола плащ и снова протянул его мне. Чёрная кровь на его груди медленно засыхала, стягивая кожу.

— Надень. Ты дрожишь, — напомнил он.

Я и правда дрожала. Всем телом, крупно, так, что стучали зубы. Не от холода. Или не только от него. Я опустила нож на шкуры и взяла плащ. Он был тяжёлым, тёплым, будто его только что сняли с чьих-то плеч, и пах тем же, чем пахло в зале: солью и нагретым камнем.

Я закуталась в него до подбородка. Ткань сразу промокла от рубахи, но мех внутри остался сухим и мягким.

— Почему ты не остановил меня?

— Ты пришла, чтобы ударить. — Он пожал плечами, и полоса чешуи вдоль его позвоночника блеснула. — Ты сама сказала. Там, на берегу, девять ночей назад. И сегодня, у камня, когда вода дошла тебе до пояса. Ты кричала, чтобы я вышел и посмотрел тебе в лицо. Я вышел. Ты ударила. Было бы нечестно мешать.

— Нечестно мешать? — переспросила я, как дура.

— Ты пришла сама, — голос его стал медленнее, будто он подбирал слова на языке, которым давно не пользовался. — Не от страха. Ты так сказала. Никто никогда не приходил ко мне сам.

Я смотрела на него снизу вверх, закутанная в его плащ, с его кровью на руках, и ничего не понимала.

Он вдруг наклонился. Быстро, плавно, так, что я не успела отшатнуться. Его лицо оказалось совсем близко к моему, и я увидела его глаза вблизи: жёлто-зелёные, с золотыми искрами вокруг зрачка, светящиеся изнутри, как янтарь на солнце. Он втянул воздух у моего виска, у самых волос. Медленно. Глубоко.

У меня внутри всё сжалось. Не от страха.

— Можжевельник, — он выдохнул мне в волосы, и его дыхание было прохладным. — Соль. Рыбья кровь, старая, въевшаяся в руки. И мужчина.

Я замерла.

— Чужой мужчина, — он выпрямился, и что-то в его лице изменилось. Чешуя на висках потемнела. — Он трогал тебя. Шею, лицо. И бедро.

Его взгляд опустился туда, где под плащом прятался пустой карман от ножа.

— Это не твоё дело, — отрезала я.

— Ты моя невеста.

— Я не твоя невеста! — Я вскочила с ложа, путаясь в плаще. — Я невеста, которую Скальвик приковал к твоему камню, чтобы ты не утопил посёлок. Я не выбирала тебя. Я тебя ненавижу.

Он смотрел на меня молча. Потом его взгляд упал ниже, на вырез плаща, который распахнулся, когда я вскочила.

Там, на кожаном шнурке, между грудей, поверх мокрой рубахи, висел серебряный молоточек Тора.

Я никогда не видела, как змея готовится к броску. Теперь увидела. Он не двинулся с места, но всё в нём вдруг натянулось, как тетива. Зрачки сжались в тонкие нити. Чешуя на запястьях и висках стала совсем чёрной и встопорщилась, будто шерсть на загривке у волка. Из его горла вырвался звук, тихий, низкий, шипящий, от которого у меня волосы на затылке встали дыбом.

— Сними это.

— И не подумаю.

— Сними, — он не повысил голоса, но медузы в чашах вдруг замерцали, будто испугались. — Это знак того, кто должен меня убить. Ты принесла его в мой дом. На своём теле.

— Это подарок, — я сжала молоточек в кулаке. Серебро было тёплым. — От того самого мужчины, которым от меня пахнет. Он молился Тору девять ночей, чтобы Тор меня спас. Тор не пришёл. Но молоточек я сниму, когда сама захочу.

Мы смотрели друг на друга через несколько шагов перламутрового пола. Он, огромный, перепачканный тёмной кровью, с почерневшей чешуёй на висках, и я, мокрая, в его плаще, с кулаком у сердца.

Он мог сорвать шнурок одним движением. Я видела это по его рукам: пальцы сжимались и разжимались, будто сами тянулись ко мне. Он мог отобрать у меня всё, что хотел: молоточек, нож, жизнь.

Он не двинулся.

Очень медленно чешуя на его висках начала светлеть. Зрачки расширились. Плечи опустились. Он отвернулся от меня и пошёл к своему костяному креслу, и я увидела, как напряжены мышцы на его спине.

— Как хочешь, — его голос был ровным и пустым. — Это твоё тело. Носи на нём что пожелаешь.

Он сел в кресло, в тень, и снова стал двумя жёлтыми огоньками в темноте.

Я стояла посреди зала, не зная, что делать. Нож лежал на шкурах. Медузы в чашах успокоились и снова мерцали ровно. За рёбрами-стенами проплывали рыбы.

Ноги у меня подкашивались. Я села обратно на край ложа, не выпуская шнурка из кулака, и долго сидела так, глядя на стену из воды. Рыба размером с лодку медленно проплыла мимо, повернула ко мне круглый глаз и ушла в синеву.

— Её можно потрогать? — я сама не знала, зачем спрашиваю.

— Стену? — жёлтые огоньки в темноте чуть сдвинулись. — Можно. Она не прольётся. Руны держат её много веков.

Я встала, придерживая плащ, и подошла к ближайшей арке между рёбрами. Пол под босыми ногами был гладким и тёплым. Руна над аркой горела зелёным, и чем ближе я подходила, тем отчётливее слышала тихий гул, как от пчелиного роя. Вода стояла передо мной прозрачной стеной. Я видела в ней своё отражение, бледное, растрёпанное, с косой на плече.

Я протянула руку и коснулась воды.

Она была холодной и упругой, как натянутая кожа на бубне. Пальцы вошли в неё по первый сустав и остановились. Дальше она не пускала. Я надавила сильнее, и стена мягко вытолкнула мою руку обратно, сухую, будто я трогала не воду, а стекло.

— Выйти отсюда можно только со мной, — его голос раздался прямо у меня за спиной.

Я обернулась так резко, что чуть не упала. Он стоял в трёх шагах от меня. Я не уловила, как он встал, не различила шагов. Так двигается змея в траве.

— Значит, я пленница.

— Ты гостья, — он подумал и поправился: — Ты то, что сама решишь. Но выйти без меня нельзя. Море тебя убьёт. Оно не убило тебя у камня только потому, что я был рядом.

— Я дышала водой. — Я вспомнила это внезапно, всем телом: холодное, спокойное море в груди. — Как это?

— Не знаю, — он смотрел на меня с тем же внимательным любопытством, что и раньше. — Люди не дышат водой. Ни одна из тех, кто тонул у моих берегов, не дышала. Ты задохнулась, а потом вдохнула, и море тебя приняло. Я этого раньше не видел.

«Когда станет нечем дышать, дыши». Отец знал. Знал, что так будет. Я невольно потрогала косу.

Он проследил за моей рукой.

— У тебя в волосах руна, — его голос стал тише. — Она горела, когда я подплыл. Белым. Я пришёл на её свет. Её резал человек?

— Мой отец.

— Сильный человек. — Он помолчал. — Под водой у камня была сеть. Огромная. Она держала тебя, а руна её жгла. Я никогда не видел этой сети, Ингрид. За все века, что лежу вокруг вашего мира, ни разу. Кто-то поставил её у моего камня так, чтобы я не заметил.

Я смотрела на него и не понимала, о чём он говорит. Сеть. Светящиеся нити. Тянущее, равнодушное, как невод. Это был не он. Я знала это там, в темноте, всем телом, ещё до того, как увидела глаз.

— Ты голодна, — он вдруг сменил тему, будто устал от разговора. — Тебе девять ночей не давали есть.

— Откуда ты знаешь?

— Я слушаю, что говорят над водой. — Он отошёл к стене, где в нише из раковин стояли какие-то сосуды. — Твоя повитуха громкая.

Он вернулся с деревянным блюдом. На нём лежали копчёная лососина, мидии, раскрытые и блестящие, лепёшки, тёмные, пахнущие водорослями, и маленький глиняный горшочек с мёдом. Мёд в подводном чертоге. Я уставилась на горшочек.

— С разбитого корабля, — он поставил блюдо на ложе рядом со мной. — Южный. Много зим назад. Мёд не портится.

Я хотела отказаться. Хотела швырнуть блюдо ему в лицо. Но от запаха копчёной рыбы у меня скрутило живот так, что потемнело в глазах. Я взяла кусок лососины и съела его в два укуса, почти не жуя. Потом второй. Потом лепёшку. Он стоял и смотрел, как я ем, и в его лице было что-то странное, чего я не могла прочесть.

— Ты смотришь, как я ем, — я вытерла рот тыльной стороной ладони.

— Никто никогда не ел в этом зале, кроме меня, — ответил он просто.

— Где Ранвейг? — спросила я снова, тише. — Если ты её не забирал, где она?

Он долго молчал. Так долго, что я решила: не ответит.

— Я никогда не брал невест, Ингрид, — его голос шёл из темноты, тяжёлый и усталый. — Ни одной. Ни твою сестру, ни тех, кто был до неё. Я никого из вас не ел.

Я вздрогнула. Он знал моё имя. Я не говорила ему своего имени.

— Ты кричала его, — он будто услышал мою мысль. — Под водой. Когда сеть тянула тебя вниз. Ты кричала: «Я Ингрид Торвальдсдоттир, и я пришла к тебе сама».

Ничего такого я не помнила. Только темноту, холод и свет из косы.

— Я тебе не верю.

— Знаю, — в темноте жёлтые огоньки медленно моргнули. — Утром я покажу тебе свой дом. Весь. Каждый угол. Найдёшь хоть одну кость, хоть одну ленту, хоть один волос твоей сестры — можешь ударить снова. Я снова не стану мешать.

Глава 5. Никого не ел

Я не собиралась спать. Я сидела на краю китового ложа, закутавшись в его плащ, с ножом на коленях, и смотрела в темноту, где горели два жёлтых огонька. Они горели долго. Потом погасли: он закрыл глаза. Или отвернулся. Или ушёл, беззвучно, как ходил. Я не знала. Медузы в чашах мерцали всё тише, и в зале становилось темнее, и за рёбрами-стенами проплывали тени, и в какой-то миг я перестала их различать.

Проснулась я от того, что мне было тепло.

Я лежала на шкурах, свернувшись клубком, под плащом, и под щекой у меня был мех. Нож куда-то делся. Рубаха на мне высохла и пахла солью. Свет в зале стал другим: медузы разгорелись ярче, а сквозь водяные стены сверху сочилось что-то бледное, зеленоватое, похожее на рассвет, увиденный со дна колодца.

Я села и нашарила нож. Он лежал рядом, у самой моей руки, рукоятью ко мне.

Змей сидел на полу у подножия ложа, спиной ко мне, скрестив ноги. Его волосы лежали на плечах чёрной волной, полоса чешуи вдоль позвоночника поблёскивала в свете медуз. Он не обернулся, но я видела, как напряглись мышцы на его спине, когда я пошевелилась.

— Ты сидел тут всю ночь? — спросила я.

— Всю, — он не повернул головы. — Ты плакала во сне. Потом перестала.

Я не помнила, что плакала. Я потрогала щёки. Они были сухими, но кожа на них стянулась, как бывает от соли.

— Я не просила меня сторожить, — буркнула я.

— Я не сторожил. Я слушал, — он наконец повернулся, одним плавным движением, всем телом сразу. — Ты дышишь иначе, чем рыбы. Иначе, чем киты. Я давно не слышал, как дышит человек, когда спит.

Он поднялся и отошёл к нише в стене. Оттуда достал что-то сложенное, тёмно-синее, и положил на край ложа рядом со мной. Это было платье. Шерстяное, южной работы, с вышивкой по вороту, сильно поношенное, но чистое. Под ним лежал кожаный пояс с бронзовой пряжкой и пара мягких башмаков.

— С корабля, — пояснил он. — Того же, что мёд. Там были женщины.

— Что с ними стало?

— Они утонули, — он не смягчил голоса. — Корабль разбился о шхеры к югу от моего хвоста. Ран взяла их к себе, как берёт всех утонувших. Мне достались сундуки.

Я взяла платье. Шерсть была мягкой, хорошей, такую в Скальвике надевала только жена ярла. Чужая женщина шила эту вышивку, ходила в этом платье, утонула, и теперь оно досталось мне. Я подумала, что Ранвейг тоже где-то донашивает чужое, если вообще жива, и отогнала эту мысль.

— Отвернись, пожалуйста.

Он посмотрел на меня долгим, непонятным взглядом. Потом отвернулся к стене из воды.

Я стянула с себя свадебную рубаху. Лён прилип к коже, и я сдирала его, как присохшую повязку. Молоточек Тора качнулся на шнурке. Я стояла голой посреди подводного зала, и мне казалось, что вода за рёбрами смотрит на меня тысячей рыбьих глаз. Я посмотрела на его спину. Он стоял неподвижно, широкий, тёмный на фоне светящейся синевы, и вдруг я заметила, что в водяной стене перед ним отражаюсь я. Бледная, голая, с косой через плечо. Отражение было смутным, дрожащим, но разглядеть было можно.

Он смотрел на моё отражение.

Я замерла с платьем в руках. Он не двигался. Не прятал взгляд, не делал вида, что смотрит куда-то ещё. Он просто смотрел, так же внимательно и спокойно, как вчера, и я видела в воде, как его глаза медленно скользят по моим плечам, по груди, по изгибу бёдер.

Мне надо было закричать. Закрыться. Швырнуть в него нож. Вместо этого я стояла и чувствовала, как этот взгляд ложится мне на кожу, почти ощутимо, будто прохладные пальцы. От шеи вниз. К груди, к животу. Соски у меня затвердели. Внизу живота стало горячо и тяжело, как в доме Тордис, только во много раз сильнее, потому что теперь у того, кто смотрел из темноты, было лицо.

— Я сказала отвернуться, — прохрипела я.

— Я отвернулся, — возразил он без насмешки и без смущения. — Ты не сказала закрыть глаза.

— Это одно и то же!

— Нет, — он помолчал. — Но если ты хочешь, я закрою.

И он закрыл. Я видела в отражении, как опустились его веки. Это было ещё хуже. Теперь он стоял с закрытыми глазами, и я знала, что он всё равно меня видит, по-своему, по-змеиному: слышит, как я дышу, чует запах моей кожи.

Я натянула платье так быстро, что запуталась в рукавах. Оно было велико в плечах и коротковато, до щиколоток, но тёплое. Я затянула пояс, сунула нож за пряжку и обулась.

— Можешь поворачиваться, — я одёрнула подол. — Хотя ты и так всё видел.

Он повернулся. Его взгляд прошёл по мне сверху вниз, медленно, как вчера, и остановился на лице.

— Синее тебе идёт больше белого, — заметил он. — В белом ты была похожа на утопленницу.

— Я и есть утопленница.

— Нет. Утопленницы не точат ножей, — он указал подбородком на рукоять у моего пояса. — Пойдём. Я обещал показать тебе дом.

* * *

Чертог Отлива оказался больше, чем я думала. Зал с ложем был только первым. Из него вели проходы, низкие и высокие, круглые и стрельчатые, и все они тоже были из кости и раковин, и над каждым горела руна. Он шёл впереди, босиком, бесшумно, и не оглядывался, но всякий раз, когда я отставала, замедлял шаг.

Он показал мне всё. Как обещал.

Комнату, где на полках из китового уса лежали вещи с утонувших кораблей. Мечи, тронутые ржавчиной. Шлемы. Кубки из серебра и стекла, южные, тонкие, каких я никогда не видела. Связки бус. Гребни. Детскую деревянную лошадку со стёртой краской. Сапоги, сморщенные от воды. Свитки, которые никто уже не мог прочесть. Всё это было разложено аккуратно, по порядку, как раскладывает свои сокровища ребёнок или старик, у которого больше ничего нет.

— Зачем тебе всё это? — не удержалась я.

— Это человеческие вещи, — он взял с полки бронзовую застёжку, повертел в пальцах и положил обратно, на то же место, точно так же, как она лежала. — Я смотрю на них и думаю, как вы живёте. Что вы едите, что носите, чем убиваете друг друга. С берега видно мало.

Комнату с запасами: сундуки, бочки, ящики, всё с кораблей, всё сухое, всё сохранённое рунами. Там пахло копчёной рыбой и мёдом.

Комнату, где из пола бил горячий источник. Вода в нём была мутной, белёсой, и над ней поднимался пар, и пахло серой и железом. Вокруг источника пол был выложен гладкими плоскими камнями.

— Это место я люблю больше всего, — признался он, глядя на пар. — Здесь тепло. В море тепло не бывает.

Я присела на корточки у края и опустила в воду пальцы. Она была горячей, почти обжигающей, и от неё по руке до самого плеча побежали мурашки. После ледяного моря и ночи в мокрой рубахе это было так хорошо, что я закрыла глаза.

— Можешь мыться здесь, когда захочешь, — его голос прозвучал у меня над головой. — Я не буду входить.

— И смотреть в воду тоже не будешь? — я не открыла глаз.

Он помолчал.

— Об этом ты меня не просила, — ответил он наконец, и я так и не поняла, шутит ли он.

Комнату, где он спал, если это вообще можно так назвать. Круглая, пустая, без ложа, без шкур, только гладкий пол, выложенный перламутром, и на нём глубокая вмятина, будто здесь много веков лежало что-то огромное, свернувшись в кольцо.

— Ты спишь здесь?

— Когда сплю, — он остановился у порога и не вошёл. — В этом облике это случается редко. Тело лежит вокруг мира и не спит никогда. А это, — он коснулся пальцами своей груди, — это то, что выходит из тела, когда оно хочет говорить. Или смотреть. Или ходить по полу, а не плыть.

Я смотрела на вмятину в полу. Огромную, гладкую, отполированную веками.

— Сколько тебе лет?

Он долго молчал.

— Не знаю, — ответил он наконец. — Сначала считал зимы. Потом перестал.

Он показал мне всё: каждый угол, нишу, полку. Я заглядывала под шкуры, в сундуки, в тёмные проходы, куда даже медузы не доставали светом. Он стоял рядом и ждал.

Я не нашла ни одной кости. Ни одной ленты. Ни девичьего гребня, ни вышитой рубахи, ни волоса. Ничего.

В последней комнате, маленькой, тёмной, в самом конце длинного прохода, я нашла другое.

Там почти ничего не было. Голые стены. Ниша в стене, и в нише, на подстилке из сухих водорослей, две деревянные фигурки. Грубо вырезанные, маленькие, каждая с мою ладонь. Одна была волком. Другая — девочкой с длинными волосами, с одной стороны выкрашенными в белый, с другой в чёрный. Краска облупилась, дерево потемнело от времени.

Я протянула руку и остановилась.

— Это моё, — его голос раздался прямо за моей спиной, и в нём было что-то, чего я раньше не слышала. — Единственное, что у меня осталось с тех пор, как я был мальчишкой.

Я обернулась. Он стоял в дверях, и его лицо было неподвижным, но глаза потемнели.

— Брат и сестра, — он глядел не на меня, а на фигурки. — Мать вырезала их, когда мы жили в Железном лесу. Мне было… я не знаю, сколько мне было. Мало. Я ещё помещался у неё на коленях. Потом пришли асы. Одноглазый взял нас троих. Брата он посадил на цепь. Сестру сбросил вниз, в темноту, к мёртвым. Меня швырнул в море.

Он сказал это спокойно, будто рассказывал, где взял мёд. Но я видела, как сжались его пальцы.

— Я держал их в руке, когда падал, — он кивнул на фигурки. — Зажал в кулаке так, что не выпустил. Я был маленьким. Море было большим. Я рос в нём долго, пока не стал больше моря. Пока не обвил весь мир и не взял в рот свой хвост. А они остались такими же.

Я смотрела на деревянного волка и двухцветную девочку, и у меня перехватило горло.

Хель. Её звали Хель. Владычица мёртвых, страшная, полуживая, полумёртвая. Фенрир, волк, который сожрёт солнце в конце времён. Их боялся весь Скальвик. Ими пугали детей.

А он держал их в кулаке, когда падал.

— Ты сказала, у тебя забрали сестру, — он поднял на меня глаза. — У меня тоже.

Я не знала, что ответить. Мне хотелось его ненавидеть. Девять зим я этому училась, каждую ночь, перед сном, вместо молитвы. А теперь он стоял в дверях маленькой тёмной комнаты, огромный, древний, с чешуёй на висках, и смотрел на меня глазами мальчишки, который зажал в кулаке двух деревянных куколок, когда его бросали в море.

— Я не нашла никаких костей, — выговорила я наконец.

— Я знаю.

— Это ничего не значит. Ты мог… — я запнулась. — Ты мог их проглотить. Змеи глотают целиком.

Он посмотрел на меня так, что мне стало стыдно.

— Пойдём, — он отступил от двери. — Есть ещё одно место.

* * *

Он вывел меня из чертога через арку, которую я раньше не замечала. Руна над ней горела ярче других. Он остановился перед водяной стеной и протянул мне руку.

— Возьми. Если отпустишь, море тебя раздавит.

Я посмотрела на его ладонь. Широкую, бледную, с чешуйками на запястье. Вчера я вогнала нож в его горло, и он позволил. Сегодня он показал мне фигурки брата и сестры.

Я взяла его за руку.

Его пальцы сомкнулись на моих, прохладные, сухие, и он шагнул в воду, утягивая меня за собой.

Море обняло меня со всех сторон. Холод, давление, темнота. Я задохнулась, по привычке, и тут же почувствовала, как вода входит в грудь, спокойно, легко, как вчера. Я дышала морем, держась за его руку, и это было так странно и так просто, что я засмеялась, и изо рта вырвались пузыри.

Он обернулся. Его волосы плыли вокруг головы чёрным облаком, глаза светились в темноте. Он посмотрел на мои пузыри и вдруг улыбнулся. Впервые. Улыбка у него была неумелая, кривоватая, будто лицо не помнило, как это делается.

Мы поплыли. Вернее, плыл он, а я держалась. Сначала за руку, потом, когда течение стало сильнее, он притянул меня к себе и положил мою руку себе на плечо, и я обхватила его за шею, прижалась к его спине. Чешуя вдоль его позвоночника была гладкой и прохладной под моей грудью, а кожа рядом с ней тёплой. Я чувствовала, как под моими ладонями двигаются мышцы его плеч, мощно, ровно, при каждом гребке. Его волосы касались моего лица. Мои ноги обвились вокруг его бёдер сами, чтобы не болтаться в воде, и я почувствовала, как он на миг сбился с ритма. Только на миг.

Я никогда в жизни не прижималась так ни к одному мужчине. Даже к Бьярни в девятую ночь. Сквозь мокрую шерсть платья я ощущала всё его тело, твёрдое, прохладное снаружи и горячее внутри, как тогда, под водой у камня. И мне не было страшно. Мне было… я не знала, как это назвать. Я прижималась щекой к его затылку и думала, что сошла с ума.

Мы плыли вверх, к свету. Темнота вокруг становилась синей, потом зеленоватой. Мимо проплывали рыбы, шарахались от нас. Потом впереди показалось что-то чёрное, огромное, уходящее вверх. Подножие скалы, обросшее водорослями и ракушками.

Хвостовой камень. Снизу.

Он остановился у самого его основания и отпустил меня. Я повисла в воде рядом, держась за выступ скалы. Он показал рукой вниз.

На дне, у подножия скалы, среди песка и валунов, лежало то, что осталось от сети.

Сотни обрывков, тонких, длинных, спутанных, обугленных на концах. Они больше не светились. Они были тусклыми, серыми, похожими на мёртвые водоросли, и лежали вокруг камня широким кругом. Я опустилась ниже, нашарила один и подняла. Он был лёгким, мягким, похожим на волос, только прочнее. На конце чернел ожог.

Это сделала руна в моей косе.

А потом я увидела ленту.

Она застряла в расщелине у самого подножия камня, зажатая между двумя валунами. Тонкая, выцветшая, почти белая от воды и времени, с золотыми нитями, которые всё ещё блестели. Такую ленту ярл покупал каждой невесте. Такая была в волосах у Ранвейг.

Я вытащила её дрожащими руками. Она была ветхой, расползалась под пальцами. Рядом с ней, глубже в расщелине, блеснуло ещё что-то. Я сунула руку и вытащила обломок железа. Ржавый, изъеденный, но я узнала форму. Половина браслета. Такого же, как тот, что вчера застёгивал на моём запястье отец.

Браслет не был сломан. Он был открыт. Как мой. Будто его отперли изнутри.

Я смотрела на ленту и браслет у себя в руках и вспоминала: сеть поднимается снизу, широко, как невод. Нити обвивают мои ноги. Браслет щёлкает и раскрывается сам. Меня тянут вниз и в сторону, прочь от камня, в зелёную мерцающую глубину.

Не к нему. Прочь от него.

Я подняла глаза. Он висел в воде рядом со мной, неподвижно, и смотрел на обрывки сети, на ленту, на браслет. Его лицо было страшным. Чешуя на висках, на запястьях, вдоль спины стала совсем чёрной. Зрачки сжались в нити. Вода вокруг него задрожала, будто от низкого гула, и рыбы шарахнулись прочь, все сразу, серебряным облаком.

Он понял то же, что и я. Только раньше. И больнее.

Их забирали у его камня. Много веков. Каждые девять зим. Под самым его носом, там, где смыкается кольцо. А люди на берегу думали, что это он. Проклинали его. Пугали им детей. Отдавали ему дочерей и ненавидели его за это.

А он ничего не знал.

Он протянул руку и взял у меня обрывок сети. Поднёс к лицу. Втянул воду ноздрями, как вчера втягивал запах моих волос. Потом его губы шевельнулись, и я услышала его голос, глухой, искажённый водой, но разборчивый.

— Это Ран.

* * *

Обратно мы плыли молча. Я держалась за его плечи, прижимая к груди ленту и обломок браслета, и чувствовала, как напряжено его тело. Каждый гребок был резким, злым, будто он бил воду.

В чертоге он отпустил меня у самой арки и пошёл прочь, к своему костяному креслу. Не сел. Встал перед ним, спиной ко мне, упёршись руками в спинку. С его волос капала вода.

— Ран ставит сети, — его голос был тихим и ровным, и от этой ровности мне стало страшнее, чем от вчерашнего шипения. — Это её дело. Она ловит утонувших и забирает их в свой чертог. Но она не берёт живых с берега. Не по своей воле. И не у моего камня. Она бы не посмела. Если только кто-то не приказал ей. Кто-то, кого она боится больше, чем меня.

— Кто же? — выдохнула я.

Он не ответил. Он стоял, сжимая спинку кресла так, что кость под его пальцами затрещала.

Я подошла ближе. Положила ленту и обломок браслета на подлокотник кресла, рядом с его рукой.

— Ранвейг была в такой ленте, — я не узнала свой голос. — Девять зим назад. Может, это её. Может, нет. Их же сотни было, этих лент.

Он посмотрел на ленту. Потом на меня.

— Они не умирали в море, — произнёс он медленно, будто сам только сейчас понимал. — Если бы тонули, Ран забрала бы их в свой чертог, к утопленникам, и я бы знал. Я слышу всех, кто тонет у моего тела. Ни одна из ваших невест не утонула, Ингрид. Их уносили.

Ни одна не утонула.

У меня подкосились ноги. Я села на пол у его кресла, прямо на перламутр, и закрыла лицо руками. Девять зим я хоронила Ранвейг. Каждую ночь видела, как над водой исчезает её коса с золотой лентой, и ненавидела того, кто её сожрал.

А её не сожрали. Её унесли.

Значит, она могла быть жива.

Я подняла голову. Он стоял надо мной, огромный, мокрый, с чёрной чешуёй на висках, и смотрел вниз.

— Я хочу знать, куда, — мой голос дрожал, но я не дала ему сорваться. — Куда их уносили. Куда унесли Ранвейг.

— Я тоже, — он опустился передо мной на одно колено, так что наши глаза оказались вровень. Вблизи я снова увидела золотые искры вокруг его зрачков. — Много веков ваши люди проклинали меня за то, чего я не делал. Я хочу знать, кто это делал. И зачем. И я хочу, чтобы он заплатил.

Он протянул руку, медленно, давая мне время отстраниться. Я не шелохнулась. Он коснулся пальцами моей косы, там, где под волосами пряталась отцовская руна. Едва-едва, кончиками пальцев.

— Клянусь своим хвостом, — голос его стал низким и торжественным, и руны над арками вдруг вспыхнули ярче, все разом, будто услышали. — Клянусь кольцом, которое держу. Я найду, куда уносили твоих сестёр, Ингрид Торвальдсдоттир. Всех до одной.

Свет рун медленно погас до прежнего.

— А ты? — спросил он, не убирая руки от моей косы. — Ты всё ещё хочешь меня убить?

Я смотрела в его глаза. Жёлтые, с вертикальными зрачками, древние, как море.

— Не знаю, — ответила я честно. — Спроси меня, когда найдём Ранвейг.

Глава 6. Сейд

Интерлюдия. Асгард

В Бильскирнире, чертоге Тора, пятьсот сорок покоев, и ни в одном из них никогда не бывает по-настоящему тихо. Где-то всегда скрипит дверь, гремит посуда, топают слуги, блеют в стойле козлы, которых хозяин режет на ужин и воскрешает к утру. Сам Тор шумит громче всех. Он даже спит громко.

Сиф не спала. Она лежала на боку в широкой постели под медвежьей шкурой и смотрела, как муж ворочается во сне. Огромный, рыжий, с бородой, заплетённой в две толстые косы, с руками, способными свернуть шею великану, и всё же по утрам он осторожно, как хрупкую скорлупу, брал её за подбородок. Во сне он морщился и что-то бормотал. Сиф прислушалась. «Рыба», — разобрала она. И ещё: «Сорвался».

Она улыбнулась. Тор до сих пор видел во сне ту рыбалку. Много зим назад он вышел в море с великаном Хюмиром, насадил на крючок бычью голову и подцепил Змея Мидгарда. Тянул его из воды, упираясь ногами так, что пробил днище лодки. Видел его глаза, вот так, на расстоянии вытянутой руки. Уже занёс молот. И тут Хюмир со страху перерезал леску.

Тор рассказывал об этом на каждом пиру. Всякий раз по-новому и всё громче. А в конце неизменно замолкал, глядя в кубок, будто снова видел, как уходит под воду огромная голова с жёлтыми глазами.

Сиф протянула руку и провела ладонью по его груди, по жёстким рыжим волосам, по старым шрамам. Он перестал бормотать и открыл один глаз.

— Ты чего не спишь? — проворчал он со сна, хрипло, как у простуженного медведя.

— Смотрю на тебя, — призналась она.

— На меня днём смотри. Ночью спи.

— Днём на тебя смотрит весь Асгард, — она придвинулась ближе, так что её золотые волосы упали ему на плечо. Волосы у Сиф были не свои: однажды Локи срезал их из озорства, наголо, пока она спала, и Тор чуть не убил его за это. Тогда Локи пришлось спуститься к цвергам и выпросить у них новые, из чистого золота. Они росли, как живые, и были мягче прежних, и Тор любил наматывать их на кулак. — А ночью ты только мой.

Он хмыкнул, сгрёб её одной рукой и затащил себе на грудь, как ребёнка. Сиф засмеялась. Она лежала на нём, на огромном горячем теле, и чувствовала, как под её животом медленно просыпается его желание. Тор никогда не пробуждался наполовину, только сразу весь, как буря.

— Мне снился Змей, — пожаловался он. Его ладонь легла ей на поясницу, тяжёлая, тёплая, и поползла ниже. — Опять.

— Знаю. Ты бормотал.

— Я его почти вытащил, Сиф. Почти. Ещё один рывок.

— Ты его вытащишь, — она наклонилась и поцеловала его в бороду, в то место, где под рыжими волосами пряталась ямка на подбородке. — В конце времён. Так говорит пророчество. Ты его убьёшь, а он тебя.

Его рука остановилась у неё на бедре.

— Не говори об этом в постели, — буркнул он. — Не люблю.

— А я не люблю, когда ты видишь во сне его, а не меня.

Тор засмеялся, громко, раскатисто, так что дрогнули стены, и перевернулся вместе с ней, подминая её под себя. Медвежья шкура сползла на пол. Сиф обхватила его руками и ногами, запрокинула голову, подставляя горло его бороде, его губам, его горячему дыханию.

В дверь постучали.

Тор замер над ней. Стук повторился, три раза, сухой, деревянный, не похожий на стук слуги.

— Кого там принесло среди ночи? — рявкнул он так, что, наверное, услышали в Мидгарде.

За дверью громко, хрипло каркнули.

Тор выругался. Сиф выскользнула из-под него и натянула на себя шкуру, а он встал, голый, огромный, рыжий, и рывком распахнул дверь. На пороге сидел ворон. Иссиня-чёрный, большой, с толстым клювом и умными бусинами глаз. Хугин. Или Мунин. Сиф никогда их не различала.

— Всеотец зовёт, — ворон проговорил это человеческим голосом, скрипучим, как несмазанная петля. — Сейчас. В Валаскьяльв.

— Ночь на дворе! — возмутился Тор.

— Всеотец зовёт, — повторил ворон и улетел, не дожидаясь ответа.

Тор долго стоял в дверях. Потом обернулся к жене. Сиф сидела на постели, закутанная в шкуру, и смотрела на него.

— Иди, — вздохнула она. — Я подожду.

— Что ему понадобилось ночью? — не унимался Тор.

— Спроси у него, — посоветовала Сиф.

— Он не скажет, — Тор принялся натягивать штаны, прыгая на одной ноге. — Он никогда ничего не говорит. Только зовёт, смотрит своим глазом и решает за всех. А потом выясняется, что всё было не так, как он сказал.

— Он твой отец, — напомнила она.

— Знаю, — Тор затянул пояс и взял с лавки рубаху. — Иногда мне от этого только хуже.

Он наклонился, поцеловал её, грубо, коротко, в губы, и вышел. Сиф слушала, как гремят по коридору его сапоги, пока звук не затих.

* * *

Валаскьяльв, серебряный чертог Одина, стоит на самом высоком месте Асгарда, и с его крыши видно все девять миров. Там, на крыше, стоит Хлидскьяльв, престол, с которого Всеотец смотрит вниз. Говорят, с него видно всё: любую лодку в море, дым над крышей, слезу на щеке. Мало ли что болтают. Правда в том, что видит Один не всё, а только то, на что смотрит. Остальное ему приносят вороны.

Когда Тор поднялся по лестнице на крышу, Один сидел на престоле, сгорбившись, кутаясь в синий плащ. Его единственный глаз был закрыт. Вороны сидели у него на плечах. На подлокотнике лежала голова Мимира, сморщенная, иссохшая, с открытыми глазами, и смотрела в никуда. У ног Одина лежали волки, Гери и Фреки, серые, огромные, и при виде Тора даже не подняли головы.

Тор был не первым. У края крыши, глядя вниз, на далёкий Мидгард, стоял Хеймдалль, белый ас, страж Биврёста. Он был в кожаной шапке с бобровой опушкой, какую носят купцы у людей, и в простом сером плаще. Тор удивлённо поднял брови.

— Ты чего вырядился, как торгаш? — хохотнул Тор.

Хеймдалль обернулся. Лицо у него было гладкое, молодое, без единой морщины, хотя он был старше многих асов, а глаза светлые, почти прозрачные. Этими глазами он видел на сотню переходов и днём, и ночью, а ушами слышал, как растёт трава.

— Был внизу, — ответил он коротко. — По делам Всеотца.

С другой стороны престола, на скамье, сидела Фрейя.

Она всегда сидела так, будто скамья была её ложем, а все вокруг пришли на неё поглядеть. Золотоволосая, белокожая, в тонком платье цвета мёда, с ожерельем Брисингамен на шее, которое светилось в темноте, как раскалённые угли. У её ног лежала серая кошка, одна из тех двух, что возили её колесницу, и жмурилась на Тора жёлтыми глазами. Фрейя тоже на него

посмотрела. Медленно, сверху вниз, с тем ленивым удовольствием, с каким смотрела на всех мужчин. Тор отвёл глаза. Даже он отводил глаза перед Фрейей.

— Отец, — он подошёл к престолу. — Ты звал.

Один открыл глаз. Он был тёмным, глубоким и смотрел так, будто видел тебя насквозь вместе со всеми твоими мыслями, даже теми, которых у тебя ещё не было.

— Змей пошевелился, — произнёс Всеотец тихим, хриплым, старым голосом.

Тор выпрямился.

— Где именно?

— У Хвостового камня. На севере Мидгарда. Впервые за много веков он подплыл к самому кольцу и разжал челюсти.

— Разжал? — Тор побледнел под рыжей бородой. — Если он отпустит хвост…

— Не отпустил. Пока. — Один погладил ворона на правом плече. — Но я хочу, чтобы ты знал. Сын Локи беспокоен. Что-то его потревожило. Что-то, чего он раньше не видел.

— Что его потревожило?

Тор увидел, как Хеймдалль у края крыши едва заметно повернул голову. Как Фрейя перестала гладить кошку. Совсем чуть-чуть, на один удар сердца. Потом всё стало как прежде.

— Этого я пока не знаю, — Один не моргнул. — Знаю только, что люди в том краю бросили жребий на невесту, как бросают каждые девять зим. Девушку приковали к камню. Змей её забрал. Как всегда.

— Ну так это обычай, — Тор пожал плечами. — Он берёт свою плату. Что в этом нового?

— Новое в том, что на этот раз он вышел за ней сам. Близко. — Один чуть подался вперёд. — Я хочу, чтобы ты был готов, сын. Если Змей поднимется раньше срока, первым он придёт к тебе. Таково пророчество.

Тор сжал кулаки. Мьёльнир висел у него на поясе, и он положил на него руку, сам того не замечая.

— Пусть приходит. Я его встречу.

— Встретишь, — Один кивнул. — Когда придёт время. Пока иди к жене. Ночь.

Тор постоял ещё, переводя взгляд с отца на стража Биврёста, потом на Фрейю. Ему казалось, что все трое знают что-то, чего не знает он. Это чувство было ему хорошо знакомо. Он был богом грома, сильнейшим из асов, защитником Мидгарда, и всё равно, стоя перед отцом, чувствовал себя мальчишкой, которого выставили из-за стола, когда взрослые заговорили о важном.

— Отец, — он помедлил. — Эти невесты. Которых Змей берёт. Что с ними бывает?

Голова Мимира на подлокотнике медленно моргнула. Больше никто не шевельнулся.

— Он их пожирает, — ответил Один. — Что ещё делает змей с добычей?

Тор кивнул и ушёл. Его сапоги прогремели по лестнице вниз. Когда звук затих, Один долго сидел молча, глядя ему вслед.

— Ты солгал ему, — Фрейя потянулась на скамье, как кошка, и Брисингамен у неё на шее вспыхнул ярче. — В который раз уже, Всеотец?

— Я сказал ему то, что ему нужно знать, — Один перевёл на неё взгляд. — Тор хороший воин. Тор плохой лжец. Если он узнает правду, её узнают все девять миров к следующему пиру.

— А правда в том, что твою сеть порвали, — Фрейя улыбнулась, и в улыбке было больше яда, чем у всех змей мира. — Сеть Ран. У камня. И девушка ушла не туда, куда уходят все. Не к тебе. Не ко мне. К нему.

Хеймдалль отошёл от края крыши и встал перед престолом.

— Я был там девять ночей, — он снял бобровую шапку и повертел в руках. — Смотрел на неё. Ничего особенного. Рыбачка. Злая. Отказалась от серебра при всём посёлке. Отец у неё годи, служит Тору. Я не почуял в доме колдовства.

— Значит, плохо чуял, — Один не повысил голоса, но волки у его ног вдруг подняли головы. — Ран говорит, нити сожгла руна. Резаная, на кости, кровью. Сильная. Старая. Такую не режет деревенский годи.

— Может, режет, — Хеймдалль пожал плечами. — Если сильно захотеть. Отец, который девять зим назад отдал одну дочь, может очень не желать отдавать вторую.

— Ран, — Фрейя протянула имя медленно, со вкусом. — Ты ей веришь, Всеотец? Морская ведьма давно мечтает выйти из твоего договора. Может, она сама порвала свою сеть, а теперь валит на руну.

Один долго молчал. Ворон на его левом плече, Мунин, переступил с лапы на лапу.

— Я хочу видеть, — проговорил он наконец. — Сам. Не глазами воронов, не ушами Хеймдалля. Я хочу видеть, что делает Змей с этой девушкой. Сейчас.

— Хлидскьяльв не смотрит под воду, — напомнил Хеймдалль.

— Хлидскьяльв нет. — Один повернул голову к Фрейе. — А сейд смотрит.

Фрейя медленно перестала улыбаться.

Сейд. Колдовство ванов и женщин, искусство, которым она владела лучше всех в девяти мирах. Сейдом можно увидеть то, что скрыто. Можно заглянуть в чужой сон, в чужое сердце, в чужую постель. Можно разжечь желание или погасить его, подчинить разум, свести с ума. Для мужчины сейд позорен. Тот, кто его творит, становится как женщина: открытым, проницаемым, уязвимым. Так считали асы. Так твердил когда-то и сам Один.

Но Один давно учился сейду у Фрейи. Тайно. По ночам. За плату.

— Это будет дорого стоить, Всеотец, — голос у неё стал мягким, бархатным, опасным. — Смотреть под воду, на самого Змея, в его чертог. Дороже, чем всё, чему я учила тебя раньше.

— Назови цену.

Фрейя поднялась со скамьи. Платье цвета мёда скользнуло по её телу, обрисовывая всё, что под ним было. Кошка у её ног встала и потянулась.

— Девушку, — она подошла к престолу и остановилась так близко, что Один, наверное, чуял её запах: мёд, янтарь и что-то тёплое, звериное. — Когда её вернут. Не к корням. Ко мне. В Фольквanг. Мне любопытно, что за кровь у дочери, ради которой отец режет такие руны.

— Забирай.

— И следующих. — Фрейя наклонилась к нему, опираясь руками о подлокотники престола, по обе стороны от него. — Первую выберу я. Из каждого жребия. Всегда. Не Идунн, не ты. Я.

Хеймдалль у края крыши отвернулся. Голова Мимира на подлокотнике закрыла глаза.

Один смотрел на Фрейю снизу вверх. Её лицо было совсем близко, её губы, её золотые волосы падали ему на грудь.

— Пойдём, — он поднялся с престола. — В Фольквanг.

* * *

Сессрумнир, чертог Фрейи в Фольквanге, просторен и тёпл, и в нём всегда пахнет мёдом, янтарём и цветами, которые не растут больше нигде. Половина павших в битвах уходит к Фрейе, а не к Одину. Они пируют в её залах, и их голоса доносились издалека, приглушённые стенами, как шум далёкого моря.

В её покоях было тихо.

Фрейя зажгла жаровню, и огонь в ней загорелся не красным, а синим. Она бросила в него горсть сушёных трав, и по комнате поплыл дым, сладкий, тяжёлый, от которого начинала кружиться голова. Потом она подошла к Одину и сняла с него плащ.

— Сейд не творят в одежде, — её пальцы расстёгивали его пояс неторопливо, как расплетают косу. — Ты помнишь. Ты должен быть открыт. Весь.

Он помнил. Он позволил ей раздеть себя. Одежда падала на пол: плащ, рубаха, пояс, штаны. Под ними он оказался вовсе не таким старым, каким выглядел на престоле. Худой,

жилистый, весь в шрамах, с длинным белым рубцом поперёк груди и девятью тонкими полосами на боку. Девять ночей он висел на Иггдрасиле, пронзённый собственным копьём, чтобы добыть руны. Шрамы остались.

Фрейя провела по ним пальцами. Медленно, от плеча к бедру. Он не шевелился.

Потом она сняла платье. Через голову, одним движением, и бросила его к его одежде. Под платьем на ней не было ничего, кроме Брисингамена. Ожерелье светилось у неё на груди, между двух полных белых грудей с тёмно-розовыми сосками, и в его свете её кожа казалась золотой.

— Сейд — это желание, — она шагнула к нему вплотную. Её грудь коснулась его груди. — Ты знаешь. Всё в сейде начинается с желания. Чтобы увидеть то, чего хочешь, нужно сначала захотеть так, чтобы забыть, кто ты.

Её ладонь легла ему на живот и поползла вниз.

Один закрыл глаз.

— Не закрывай, — прошептала она ему в губы. — Смотри на меня и хоти.

Он открыл. Синий огонь отражался в его зрачке. Фрейя обвила его руками за шею и потянула за собой, вниз, на ковёр из шкур. Они опустились на него, сплетаясь, и дым над огнём закрутился медленным водоворотом, будто его помешивали невидимой ложкой.

Она оседлала его, и её золотые волосы упали им обоим на лица, как занавес. Она начала напевать. Тихо, низко, без слов, на одной ноте, которая то поднималась, то опускалась, в такт её движениям. Это был гальдр, песня сейда, и с каждым вздохом она звучала всё глубже. Один дышал с ней в одном ритме. Его руки лежали на её бёдрах, сжимали их всё сильнее, оставляя на белой коже красные следы. Он не был нежен. Она не хотела, чтобы он был нежен. Она откинула голову, и ожерелье на её груди вспыхнуло так ярко, что тени на стенах шарахнулись.

То, что было дальше, не видел никто. Даже вороны остались за дверью.

* * *

Когда всё кончилось, они лежали на шкурах у почти погасшей жаровни, и дым висел над ними тяжёлым облаком. Фрейя положила голову ему на грудь. Её дыхание было медленным, как у спящей, хотя она не спала. Один смотрел в дым.

И видел.

Сначала только тьму. Синюю, холодную, бесконечную тьму глубокой воды. Потом в тьме проступили белые дуги. Рёбра. Огромные рёбра кита, между ними перламутр, а над арками горели руны. Он узнал их. Он сам когда-то резал такие. Давно. До того, как бросил в море маленького мальчика с жёлтыми глазами.

Потом он увидел их.

Он стоял на одном колене. Огромный, черноволосый, с чешуёй на висках. Он стоял перед девушкой, которая сидела на полу у костяного кресла в синем южном платье, и её лицо было мокрым от слёз. Он протягивал к ней руку. Медленно. И она не отстранялась. И он коснулся её волос, золотой косы, туда, где под прядями пряталось что-то, что светилось слабым белым светом.

И руны над арками вспыхнули.

Один дёрнулся, будто его ударили. Дым над жаровней рассеялся, видение пропало. Фрейя подняла голову с его груди.

— Ты видел, — это был не вопрос.

— Он поклялся, — прохрипел Один. — Ей. Хвостом и кольцом, Фрейя.

Она приподнялась на локте и посмотрела на него сверху вниз. Брисингамен у неё на шее тускло светился. В её глазах было что-то, чего он не видел очень давно. Не насмешка. Не жадность. Страх.

— Чем? — её голос дрогнул. — Что он ей обещал?

— Найти, куда уносили невест.

Фрейя медленно села. Её волосы упали ей на спину золотым водопадом. Она смотрела на синий пепел в жаровне.

— Он никогда никому не клялся, — прошептала она. — За все века. Ни тебе, когда ты взял с него клятву держать хвост, он ведь тогда был ребёнком и не понимал, что говорит. Ни отцу. Ни Ран. Никому. А этой рыбачке… за одну ночь…

— Значит, её надо вернуть, — Один поднялся с пола. Он стоял голый посреди её покоя, худой, жилистый, весь в шрамах, и вдруг снова стал похож на старика. — Быстро. Пока он не начал искать. Пока не нашёл.

— И как ты её вернёшь? — Фрейя подняла на него глаза. — Она в его чертоге. Под водой. Ни один ас туда не войдёт. Даже Тор.

— Он выпустит её. — Один нагнулся за плащом. — Рано или поздно. Люди не живут под водой. Она захочет на берег, к отцу, к своим. Он не сможет её удержать. Он ничего не берёт силой. Никогда не брал. Я сам его так воспитал, бросив в море, — в его голосе прозвучало что-то похожее на горькую усмешку. — И когда она выйдет на берег, мы будем ждать.

Он накинул плащ и пошёл к двери. У порога обернулся.

— Твоя цена остаётся в силе, — его единственный глаз блеснул в полумраке. — Девушка твоя. Когда вернём. Но верни её до того, как он её полюбит.

Фрейя рассмеялась. Смех у неё был красивый, низкий, и в нём снова звучала насмешка, но Один видел, как дрожат её пальцы на Брисингамене.

— Змеи не любят, Всеотец, — она откинулась на шкуры, раскинув руки. — Змеи обвиваются. И не отпускают.

Один ничего не ответил. Он вышел, и дверь за ним закрылась.

Фрейя долго лежала на шкурах, глядя в потолок. Потом протянула руку к жаровне, взяла щепоть синего пепла и растёрла её между пальцами. Пепел пах мёдом, янтарём и морской солью.

— Рыбачка, — прошептала она. — Посмотрим, что в тебе такого.

Глава 7. Гостья, не жертва

Под водой нет дней. Это я поняла на второе утро, если это было утро. Медузы в чашах разгорались и тускнели сами по себе, без всякого порядка, а бледный свет, который сочился сверху сквозь толщу моря, то появлялся, то исчезал, и я не могла понять, солнце это или луна. Я спала, если хотелось спать, и ела, если он приносил еду. Время растеклось, как масло по воде.

На третье утро я взяла нож и процарапала на кости у изголовья ложа три черты.

— Что это? — спросил он, стоя в проходе, и смотрел на мои царапины так, будто я вырезала руну.

— Дни. Я считаю, сколько я здесь.

— Зачем тебе это?

— Затем, что наверху считают, — я сдула костяную пыль с лезвия. — Отец, Сольвейг. Бьярни, наверное, тоже. Они думают, что я умерла три дня назад. Если я не буду считать, я забуду, что они там есть.

Он подошёл и провёл пальцем по трём царапинам. Медленно, одну за другой.

— Я тоже считал, — признался он. — Когда был маленьким. Царапал камни на дне. Потом камней стало слишком много.

Он ушёл, ничего больше не сказав, и вернулся с блюдом. Лососина, мидии, лепёшки, мёд. То же, что вчера и позавчера. Я ела и разглядывала его. Он сидел на полу напротив, скрестив ноги, и следил, как я ем. Так повторялось каждый раз.

— Ты сам когда-нибудь ешь? — не выдержала я.

— Конечно, ем.

— И чем же ты питаешься?

— Китами, — сообщил он так буднично, что я поперхнулась. — Иногда акул. Тело ест. Этот облик, — он коснулся своей груди, — ест редко. Ему хватает того, что ест тело.

— Ты ешь китов. Целиком.

— Обычно да, — согласился он и вдруг чуть наклонил голову. — Тебя это пугает больше, чем если бы я ел девушек?

Я отложила лепёшку.

— Нет. Меня пугает, что я сижу здесь третий день и ничего не делаю.

* * *

Разговор, которого я боялась и ждала, случился в тот же день, у горячего источника.

Он устроился у порога, как обещал, а я на плоских камнях у самой воды, обхватив колени, и смотрела на пар. Платье я не снимала. Мне просто нравилось там: тепло, пахнет серой, и сквозь пар не видно водяных стен.

— Я хочу домой.

Он промолчал. Я обернулась. Он сидел в дверном проёме, привалившись спиной к косяку, и его лицо было непроницаемым.

— Слышишь? Я хочу на берег. К отцу. Сказать ему, что жива, и спросить про руну. Он знал, понимаешь? Он знал про сеть, про то, что можно дышать водой, про всё. Он знал, что Ранвейг не сожрали. И молчал девять зим.

— Сейчас нельзя, — его голос был ровным.

— Это почему же?

— Потому что тот, кто поставил сеть у моего камня, знает, что она порвалась. — Он смотрел не на меня, а на пар над водой. — Знает, что ты ушла не туда. Он будет ждать тебя на берегу. Там, где я не смогу тебя защитить.

— Кто «он»?

— Пока не знаю.

— Может, Ран? — предположила я.

— Ран ставит сети, но не придумывает, куда девать улов. — Он помолчал. — Кто-то сильнее. Кто-то, кто может приказать морской хозяйке и кому она не смеет отказать. Пока я не знаю, кто это, ты останешься здесь.

Я встала. Камни под ногами были горячими.

— Ты сказал «останешься»?

— Здесь безопасно, — упрямо повторил он.

— Здесь ты, — возразила я и подошла к нему вплотную. Он сидел, а я стояла, и впервые смотрела на него сверху вниз. — Здесь твои стены, через которые нельзя пройти, и твоё море, которое меня раздавит, если ты не держишь меня за руку. Ты велишь мне сидеть тут, и я подчинюсь, потому что у меня нет выбора. Ты знаешь, как это называется?

Он поднял на меня глаза.

— Это называется плен, — я не дала ему ответить. — Ты держишь меня, как держали тебя. Как Один. Бросил в море и сказал: держи свой хвост. И ты держишь. Сколько веков? Ты не помнишь. А теперь ты делаешь со мной то же самое.

Я пожалела об этих словах сразу, как только их сказала. Его лицо не изменилось, но чешуя на висках потемнела, медленно, будто на неё легла тень, и зрачки сжались. Он смотрел на меня долго, не моргая, и в этом взгляде было что-то такое, от чего мне захотелось отступить.

Я не отступила.

Он поднялся. Медленно, плавно, всем своим огромным телом, и теперь снова смотрел на меня сверху вниз. Так близко, что я ощущала прохладу, идущую от его кожи.

— Я не Один, — его голос был тихим и очень спокойным. — Я не беру силой. Никогда.

— Тогда отпусти меня.

— Хорошо, я отпущу.

Я моргнула.

— Ты отпустишь?

— Скажи, когда, и я отведу тебя на берег, — он не отводил глаз. — В отлив. К тому месту, которое назовёшь. Я не стану держать тебя здесь, если ты этого не хочешь. Но я хочу, чтобы ты знала: на берегу тебя будут ждать. И я не смогу пойти за тобой дальше, чем слышен прибой.

Я смотрела на него, не зная, что сказать. Я ждала спора, шипения, того, что он запрёт меня в своих рёбрах навсегда. Только не «хорошо».

— Почему дальше прибоя нельзя?

— Потому что я кольцо, Ингрид, — в его голосе прозвучала усталость. — Я держу мир. Этот облик способен выйти из моря, но далеко от тела уйти не в силах. Чем дальше от воды, тем я слабее. Там, где волн уже не слышно, меня нет.

Я долго молчала. Пар от источника оседал у меня на лице мелкими каплями.

— Тогда давай договоримся, — решилась я наконец.

* * *

Мы договаривались долго. Сидя на горячих камнях у источника, друг напротив друга, как торгуются на ярмарке. Это было странно и почему-то смешно.

— Я не пленница, — я загнула палец. — Я гостья.

— Ты гостья, — согласился он.

— Я могу уйти, когда захочу. Ты отведёшь меня на берег, если я попрошу.

— Отведу. В отлив. И если ты дашь мне сначала сказать, что я об этом думаю.

— Ты можешь говорить что угодно. Я не обязана слушать.

Он чуть наклонил голову. Я уже знала этот жест: так он делал, когда обдумывал что-то, что ему не нравилось, но с чем он не мог спорить.

— Ладно, договорились, — уступил он.

— Ты не смотришь, как я моюсь. Ни в отражениях, ни сквозь воду, ни никак иначе.

— Не смотрю.

— И не нюхаешь меня.

Он замер.

— Ты сделал это в первую ночь, — напомнила я. — И потом, когда мы плыли. Ты всё время втягиваешь воздух, когда я рядом.

— Я так узнаю, что ты чувствуешь, — объяснил он невозмутимо. — Страх пахнет кислым. Злость горьким. Сейчас ты пахнешь горячим камнем и немного смущением.

Я покраснела. Он, конечно, это учуял.

— Вот именно поэтому, — огрызнулась я. — Не нюхай.

Он долго смотрел на меня.

— Этого я обещать не могу, — признался он наконец. — Я не умею не чуять. Так же, как ты не умеешь не видеть с открытыми глазами. Но я могу не говорить тебе, что учуял.

Я хотела возмутиться. Потом поняла, что это самый честный ответ, который я когда-либо слышала от мужчины. Бьярни бы соврал. Отец бы промолчал.

— Ладно, — я разжала кулак. — Твоя очередь.

— Моя очередь?

— Ты ничего не хочешь от меня?

Он долго думал. Я видела, как его взгляд скользит по моему лицу, по шее, по рукам, лежащим на коленях. Медленно, внимательно, как в первую ночь.

— Не лги мне, — попросил он. — Никогда. Я тебе не лгу, и ты не лги. Можешь молчать, не отвечать вовсе. Но если уж ответила, то правду.

— Это всё?

— Это всё.

— Идёт, по рукам, — я протянула ему руку. Так в Скальвике закрепляют сделку: рука в руку, при свидетелях. У нас свидетелем был только пар.

Он посмотрел на мою руку, будто не понимал, что с ней делать. Потом взял её. Его ладонь была прохладной и сухой, и он сжал мои пальцы осторожно, как сжимают птенца.

— Это уговор, — объявила я.

— Значит, уговор, — эхом откликнулся он и не отпустил руку.

Мы сидели так, держась за руки над горячей водой, и я вдруг поняла, что он не знает, когда отпускать. Никто никогда не жал ему руку и не договаривался с ним.

Я сама высвободила пальцы. Медленно. Он смотрел, как они выскальзывают из его ладони.

* * *

После уговора я спросила, как он слышит берег.

Он долго молчал, будто не знал, как объяснить. Потом протянул мне руку ладонью вверх.

— Дай, — попросил он. — Я покажу.

Я положила свою руку в его. Он сжал её, легко, и закрыл глаза.

Сначала ничего не было. Только пар, тепло и его прохладные пальцы. Потом в ушах зашумело. Не так, как шумит в ушах от крови. Так шумит море, когда прижимаешь к уху большую раковину. Шум становился громче, ближе, распадался на голоса, бессчётные, далёкие, тихие, перебивающие друг друга. Скрип вёсел. Плеск сетей. Крики чаек. Ругань рыбаков на языке, которого я не знала. Плач ребёнка. Смех. Песня.

— Это весь берег, — его голос звучал рядом и одновременно издалека. — Весь Мидгард, там, где он касается воды. Я слышу его всегда. Каждый вдох. Сейчас я дам тебе только твой.

Голоса стали стихать, один за другим, как гаснут огни в посёлке, когда все ложатся спать. Остался только один кусочек берега. Я узнала его сразу, по звуку: галька под ногами, ветер в лодочных сараях, хлопанье паруса на мачте у причала. Скальвик.

Кто-то шёл по гальке. Лёгкие шаги, неуверенные. Остановились у самой воды.

— Ингрид Торвальдсдоттир, — голос был тихим, дрожащим, и я узнала его прежде, чем он договорил. Сольвейг. — Ингрид Торвальдсдоттир. Ингрид Торвальдсдоттир.

Она повторяла моё имя. Стоя у моря. Вслух. Как обещала.

— Я знаю, что ещё не Ночь Отлива, — её голос сорвался. — Я знаю. Но я не могу ждать девять зим. Я буду приходить каждый вечер. Мать ругается. Ярл запретил называть твоё имя. Тордис твердит, что я дура. А я буду приходить.

Я не заметила, что плачу, пока он не сжал мою руку крепче.

Потом были другие шаги. Тяжёлые. Мужские. Сольвейг охнула и убежала. Тот, кто пришёл, долго стоял молча. Потом с силой швырнул что-то в воду, камень или палку, и я услышала его дыхание, хриплое, злое.

— Я тебя найду, тварь, — это был Бьярни. — Слышишь? Я принёс жертву Тору, своего лучшего барана. Тор придёт за тобой. А если не придёт, приду я.

Я выдернула руку. Голоса пропали разом, будто захлопнулась дверь. Остался пар, тепло и шум источника.

Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Он хочет меня убить, — заметил он спокойно. — Твой Бьярни.

— Он не мой.

— Он думает, что твой.

Я вытерла лицо рукавом. Мне было неловко за слёзы и за Бьярни, и почему-то стыдно перед ним, хотя я не знала за что.

— Сольвейг приходит каждый вечер, — прошептала я. — Она сказала.

— Каждый, — подтвердил он. — Я слышал её вчера и позавчера. Не знал, кто это. Теперь знаю.

— Почему ты мне не сказал?

— Ты не спрашивала, — он помолчал. — И я не знал, что тебе это нужно. Теперь знаю и это.

* * *

Ближе к ночи, если это иправда была ночь, он решил меня накормить.

Я поняла это, когда вошла в комнату с источником и увидела его на корточках у самой воды. Перед ним на плоском камне лежала горка мидий, живых, плотно закрытых, а рядом стоял медный котёл с разбитого корабля. Он глядел на котёл, как на врага, с которым непонятно, как сражаться.

— Что ты делаешь?

— Ты ешь холодное третий день, — пояснил он, не обернувшись. — Люди едят горячее. Я видел с берега. Вы кладёте еду в огонь.

— В огонь не кладут. Варят в котле, а котёл ставят на огонь.

— Здесь нет огня.

— Я заметила, — фыркнула я.

Он перевёл взгляд с котла на источник. Горячий, бурлящий, исходящий паром.

— Вода горячая, — протянул он медленно, будто сам себе объяснял.

И прежде чем я успела что-то сказать, он сгрёб все мидии в посудину, зачерпнул источника и поставил котёл прямо в бурлящую воду. Котёл забулькал, накренился и чуть не утонул. Он подхватил его, обжёгся, зашипел, громче всякой меди, и выпустил. Котёл ушёл на дно источника.

Я посмотрела на него. Он не отрывал глаз от пузырей над тем местом, где утонула медь. Чешуя на его запястьях встопорщилась.

И я засмеялась.

Я не смеялась так с тех пор, как ушла Ранвейг. Девять зим. Я смеялась, держась за живот, сползая по стене на пол, и слёзы текли у меня по щекам, и я не могла остановиться. Он сидел

на корточках у источника и смотрел на меня с таким оскорблённым лицом, что от этого становилось ещё смешнее.

— Ты Змей Мидгарда, — я задыхалась. — Ты обвиваешь весь мир. Ты ешь китов целиком. И ты не можешь сварить мидии.

— Я никогда их не варил, — возразил он с таким достоинством, что я снова зашлась смехом.

Потом я вытерла слёзы, засучила рукава и полезла в источник. Вода была обжигающей, но котёл лежал неглубоко, на камнях. Я нашарила его, вытащила, вылила. Мидии внутри уже раскрылись, розовые, горячие, пахнущие морем.

— Вот, — я поставила котёл на камень рядом с ним. — Готово. Это ты их сварил.

Он посмотрел на котёл. Потом на меня. Потом взял одну мидию, осторожно, двумя пальцами, и протянул мне.

Я взяла её прямо с его пальцев. Губами. Сама не знаю, почему. Мне просто не хотелось тянуть руку.

Он замер. Мои губы коснулись его пальцев, совсем чуть-чуть, и я почувствовала, как он вздрогнул всем телом, точно Бьярни, когда я ответила на поцелуй. Только сильнее. Мидия была горячей и сладкой. Его пальцы были прохладными.

Я прожевала, проглотила и отвела глаза.

— Вкусно получилось, — пробормотала я.

Он молчал. Я слышала его дыхание: медленное, глубокое, будто он изо всех сил старался дышать ровно. Я знала, что он учуял. Знала, что он знает, что я чувствую. И знала, что он не скажет. Мы договорились.

* * *

Мы ели мидии, сидя у источника. Он брал их из котла и ел прямо со створками, и те хрустели у него на зубах, как сухари. Я выковыривала мясо пальцами.

— Тот мужчина, — начал он вдруг. — Которым ты пахла.

Я перестала жевать.

— Его зовут Бьярни.

— Бьярни, — повторил он, будто пробуя имя на вкус. Вкус ему не понравился. — Кто он тебе?

— Это тебя не касается.

— Ты обещала не лгать.

— Я не лгу. Я не отвечаю. Это разрешено, ты сам сказал.

Он раскусил очередную мидию. Раковина хрустнула громче, чем нужно.

— Он трогал тебя, — продолжил он, глядя в котёл. — Целовал. Хотел увести.

— Откуда ты знаешь?

— Я слушаю, что говорят над водой. Он говорил с тобой в лодочном сарае, у самого берега. Звал бежать к данам.

Я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо. Он слышал. Всё. Сарай, лодку, парус, мои слова о том, что я хочу плюнуть Змею в морду.

— Ты подслушивал.

— Я слушал. Я всегда слушаю. Девять ночей ты была у воды, и я слушал. — Он поднял на меня глаза. — Ты хотела плюнуть мне в морду.

— Да, хотела.

— Ещё хочешь?

Я долго смотрела на него. На его лицо, на чешую на висках, на жёлтые глаза, в которых отражался свет медуз.

— Не знаю, — ответила я честно.

Он кивнул, будто это был хороший ответ. Потом спросил, совсем тихо:

— Он хорошо целует?

Я чуть не подавилась.

— Ты не имеешь права спрашивать.

— Про право я не спрашивал. Я спросил, хорошо ли он целует.

— Лучше, чем ты варишь мидии, — огрызнулась я.

Он не улыбнулся. Он смотрел на меня так серьёзно, что мне стало не по себе.

— Я не знаю, как это, — признался он.

— Не знаешь чего?

— Целовать. — Он отставил котёл. — Я видел, как это делают люди. С берега. Много раз. Я знаю, как это выглядит. Но я не знаю, как это.

Я смотрела на него и не могла понять, шутит он или нет. Потом поняла: не шутит. Он никогда не шутил. Он сидел передо мной, огромный, древний, сильнее всех на свете, сын Локи, Змей Мидгарда, и признавался, что ни разу в жизни никого не поцеловал.

Ни разу. За все века.

У меня пересохло во рту. Я смотрела на его губы. Твёрдые, чётко очерченные, бледные. Я думала о том, какие они на вкус. Холодные, как его пальцы? Солёные, как море?

Он смотрел на меня. Он чуял, о чём я думаю. Я видела это по тому, как потемнели его глаза, как расширились зрачки, как дрогнули ноздри.

Он не двинулся. Мы договорились. Он не делает ничего, чего я не хочу. А я не знала, хочу ли я.

Я знала только, что если сейчас наклонюсь к нему, хоть немного, на ширину ладони, он не отстранится. Что его губы окажутся у моих раньше, чем я успею передумать. Что я узнаю, какие они на вкус, и после этого уже не смогу ненавидеть его, даже если очень захочу. Ранвейг ещё не нашлась. Отец ещё ничего не объяснил. А я сидела у горячего источника в чужом платье, с мидией на языке, и думала о губах Змея Мидгарда так, как никогда не думала о губах Бьярни.

Мне стало страшно. По-настоящему, сильнее, чем у камня, когда вода дошла до горла.

Я встала. Слишком резко, чуть не опрокинув котёл. Мидии раскатились по камням, одна плюхнулась в источник.

— Я пойду спать, — голос у меня был чужим.

— Иди, конечно, — отозвался он.

Я пошла к двери. У самого порога обернулась.

— Как тебя зовут?

Он сидел у источника, в облаке пара, и свет медуз дрожал на его чешуе.

— Змей, — ответил он. — Мидгардсорм. Сын Локи. Так меня называют.

— Это не имена. Это прозвища. Так зовут собаку: Пёс. Или лодку: Лодка. Как тебя звала мать?

Он долго молчал. Так долго, что я решила: не ответит.

— Я не помню, — ответил он наконец, и в его голосе было что-то, от чего у меня сжалось сердце. — Помню, что она пела его. Помню, что это было коротко. Помню, как звучало, когда она его пела. А слова не помню. Море их смыло.

Я стояла на пороге и смотрела на него. Пар поднимался между нами белой завесой и расходился. Он сидел у источника, сгорбившись, и вдруг показался мне не огромным и древним, а маленьким. Мальчишкой, который держит в кулаке двух деревянных куколок и падает в море.

Я хотела сказать что-нибудь. Что угодно.

И тут стены дрогнули.

Не сильно. Будто где-то очень далеко ударили в огромный бубен. Пол под ногами качнулся. Вода в источнике плеснула через край. Руны над всеми арками разом мигнули, погасли и вспыхнули снова, ярче, тревожнее.

Он вскочил одним движением. Его лицо изменилось. Чешуя на висках, на запястьях, вдоль позвоночника встала дыбом и почернела. Зрачки сжались в нити.

— Что случилось? — я схватилась за косяк.

Он не ответил сразу. Он стоял, запрокинув голову, будто прислушивался к чему-то, чего я не могла слышать. Потом медленно повернулся ко мне.

— Кто-то трогает моё кольцо, — проговорил он.

Глава 8. Чешуя

Второй удар пришёл раньше, чем я успела отпустить косяк.

Сильнее первого. Пол ушёл из-под ног, и я полетела на колени. Вода из источника выплеснулась волной и окатила меня до пояса, горячая, вонючая, серная. Где-то в глубине чертога загремело, покатилось, разбилось: полки с сокровищами утопленников, должно быть. Медузы в чашах заметались, как испуганные рыбы. Руны над арками вспыхнули белым, ослепительно, и я зажмурилась.

Когда я открыла глаза, он стоял посреди комнаты, согнувшись, прижав ладонь к левому боку. Его лицо было серым. Губы побелели. Сквозь пальцы сочилось тёмное.

— Что с тобой? — крикнула я и поползла к нему на четвереньках по мокрым камням.

— Тело, — он выдавил это сквозь стиснутые зубы. — Кто-то ударил тело. На востоке. Там, где кольцо ближе всего к берегу.

— Чем? — допытывалась я. — Чем ударил?

— Не знаю. Чем-то острым. С рунами. — Он выпрямился, медленно, с усилием, будто поднимал на плечах лодку. Его рука так и осталась прижатой к боку. — Мне нужно уйти.

— Куда тебе нужно?

— Туда, — он посмотрел вверх, через свод и толщу воды, куда-то на восток, где я ничего не могла видеть. — Этот облик — часть меня. Если тело ранено, ему больно тоже. Но если я уйду в тело целиком, я смогу защитить его. Сбросить то, что в него вонзили. Ударить в ответ.

— А я? — вырвалось у меня.

Он перевёл на меня взгляд. Зрачки у него были узкими, как трещины во льду.

— Ты останешься здесь, — голос у него стал совсем тихим. — Руны держат стены. Без меня они продержатся. Не выходи. Не трогай воду у арок. Жди.

— Долго мне ждать?

— Не знаю, — признался он.

Он шагнул к выходу и пошатнулся. Я вскочила и подставила ему плечо, сама не понимая зачем. Он был тяжёлым, как камень, и холодным, и я чуть не упала под его весом. Он оперся на меня всего на миг. Потом выпрямился и мягко, но решительно отстранил меня.

— Жди меня, — повторил он.

И исчез.

Не ушёл. Не уплыл. Исчез, как гаснет огонь, когда задуваешь лучину. Только что он стоял передо мной, огромный, серый от боли, с тёмной кровью на пальцах, а теперь там было пусто. Остался только запах: соль, нагретый камень и что-то горькое, металлическое. Кровь.

На мокрых камнях у источника, там, где он стоял, темнели три капли.

* * *

Я не знаю, сколько я ждала.

Сначала я сидела у источника, обхватив колени, и слушала, как дрожит чертог. Удары больше не приходили, но стены гудели, долго, низко, будто где-то очень далеко шла битва. Порой руны над арками мигали. Медузы в чашах то разом вспыхивали, то гасли. А из толщи воды временами доносился звук, похожий на рёв, такой низкий, что я не слышала его ушами, а чувствовала грудью.

Потом я встала и пошла по чертогу.

Полки в комнате с сокровищами рухнули, все до одной. Мечи, шлемы, кубки, бусы, гребни лежали на перламутровом полу вперемешку, как на дне после крушения. Детская деревянная лошадка откатилась к самой стене. Я подняла её и поставила на уцелевший выступ. Потом кубок, потом застёжку. Потом стала собирать всё и раскладывать на полу рядами, как это делал он. Мне нужно было чем-то занять руки.

Я помнила, где что лежало. Удивительно, но в голове всё сохранилось. Мечи справа, у стены. Кубки посередине, южные отдельно от северных. Гребни в нише у входа. Я раскладывала его сокровища и думала о том, что он делает сейчас, там, на востоке, в своём огромном теле, которое обвивает весь мир. С кем бьётся. Кто его ранил.

И почему мне так страшно, что он не вернётся.

Потом я пошла в маленькую комнату в конце длинного прохода. Фигурки волка и девочки упали с подстилки из водорослей. Волк лежал на боку. Девочка откатилась в угол. Я подняла их, бережно, и положила обратно, рядом, как они лежали. Деревянная девочка с бело-чёрными волосами смотрела на меня облупившимися глазами.

— Он вернётся, — пообещала я ей вслух. Мне показалось, что так надо. — Слышишь? Вернётся.

Девочка, конечно, молчала.

Потом я вернулась в зал с ложем, легла на шкуры и смотрела на водяную стену. Рыбы за ней куда-то пропали. Вода была пустой и тёмной.

Я, наверное, уснула. Потому что, когда открыла глаза, медузы горели ровно, гул стих, а руны над арками светились спокойным зелёным светом.

И у подножия ложа на полу лежал он.

* * *

Он лежал на боку, лицом ко мне, подтянув колени к груди, как спят дети и раненые звери. Его волосы рассыпались по перламутру чёрной волной. Глаза были закрыты. Грудь поднималась медленно, неровно, с каким-то тихим хрипом на выдохе.

Под ним растекалась лужа. Тёмная, почти чёрная, с зелёным отблеском.

Я скатилась с ложа на колени рядом с ним.

— Эй, — позвала я и тронула его за плечо. Кожа была ледяной. — Эй, ты слышишь?

Он открыл глаза. Жёлтые, мутные, будто затянутые плёнкой. Зрачки не сразу нашли моё лицо.

— Вернулся, — прохрипел он. — Обещал.

— Ты ничего не обещал. Ты велел ждать, — возразила я.

— Значит, обещал, — он попытался улыбнуться, и вышло это так криво и страшно, что у меня сжалось сердце.

Я увидела рану.

Она шла по его левому боку, от рёбер почти до бедра, длинная, рваная, глубокая. Края её не стягивались, как стянулись края раны на шее, когда я ударила его ножом. Наоборот, они расползались, будто что-то мешало им срастись. Кожа вокруг почернела, а на чешуе, которая проступила по краям, горели крошечные белые искры. Руны. Кто-то вырезал руны на том, чем его ударили, и эти руны теперь жгли его изнутри.

— Оно внутри, — он проследил за моим взглядом. — Наконечник. Я вырвал копьё из тела, но остриё обломилось и застряло. И в этом облике тоже. Пока он внутри, рана не закроется.

— Тогда его надо вытащить.

— Я не могу, — он поднял руку и показал мне. Пальцы дрожали. На подушечках чернели ожоги. — Пробовал. Руны жгут меня. Они вырезаны против моей крови.

Я смотрела на его рану, на его обожжённые пальцы, на лужу крови, которая всё растекалась по перламутру. Двадцать две зимы я резала треску. Сорок рыбин в день. Я знала, как устроено тело внутри. Знала, где кость, где жила, где мясо. Тордис учила меня зашивать раны, когда рыбаки резались о крючки. Мать учила меня, какие травы останавливают кровь, пока сама не слегла.

Руны вырезаны против его крови. Моя им не враг.

— Лежи, — я встала. — Не двигайся.

Я сбегала в кладовую. Вернулась с горшочком мёда, с охапкой чистой холстины, которую нашла в сундуке, с медным ковшом. Потом сбегала к источнику и зачерпнула горячей воды. Вернулась. Опустилась на колени рядом с ним.

Нож лежал у меня за поясом. Мой разделочный нож с зазубриной у острия.

— Будет больно, — предупредила я.

— Я догадываюсь.

— Очень больно, — настаивала я.

— Ингрид, — он смотрел на меня снизу вверх мутными жёлтыми глазами. — Ты уже втыкала в меня нож. Я помню, как это.

Я чуть не засмеялась. Потом перестала, потому что надо было работать.

Я промыла рану горячей водой. Он зашипел сквозь зубы, и всё его тело напряглось так, что под кожей проступили все мышцы разом. Вода смывала чёрную кровь, и в глубине раны, между рёбрами, я увидела что-то, что блестело. Тускло, белёсо. Металл. Обломок, длиной в палец, с зазубренным краем.

Я вдохнула. Выдохнула. Как перед тем, как распороть брюхо большой треске. И вошла в рану пальцами.

Он закричал.

Не человеческим голосом. Этот крик шёл не из горла, а откуда-то из глубины, из огромного тела, которое лежало вокруг мира, и от него задрожали стены, и медузы в чашах погасли все разом, и руны над арками полыхнули белым. У меня заложило уши. Но я не остановилась. Мои пальцы нащупали наконечник, скользкий от крови. Металл раскалился так, что жёг даже меня, но не так, как его. Терпимо. Как жжётся крапива.

Я сжала его и потянула.

Наконечник сидел крепко, зацепившись зазубринами за что-то внутри. Я тянула, а он кричал, и его кровь заливала мне руки до локтей, холодная, жгучая. Я вспомнила, как вытаскивают крючок, который глубоко ушёл в ладонь: не тянуть назад, а поворачивать, вдоль зазубрины. Я повернула. Почувствовала, как что-то поддалось. И вытащила.

Наконечник лёг мне на ладонь. Узкий, тёмный, с обломанным древком. По всей его длине были вырезаны руны, крошечные, тонкие, и они всё ещё светились, белым, злым светом. Я никогда не видела таких рун. Отец резал другие, грубые, простые. Эти были как паутина.

Он перестал кричать. Лежал, тяжело дыша, с закрытыми глазами. Медузы в чашах начали медленно разгораться снова.

Я швырнула наконечник через весь зал, как можно дальше. Он ударился о водяную стену, отскочил, покатился по перламутру и замер у подножия костяного кресла. Руны на нём погасли.

Рана на его боку дрогнула. Края её медленно потянулись друг к другу.

* * *

Я обработала рану мёдом. Тордис всегда клала мёд на порезы: от него, по её словам, раны не гниют. Я не знала, бывает ли такое у змеев, но хуже от мёда стать не могло. Потом прижала к ране холстину, сложенную в несколько раз, и держала, пока кровь не перестала сочиться.

Он лежал неподвижно. Только дышал. Иногда по его телу пробегала дрожь.

— Повернись, — попросила я. — Надо посмотреть, не прошла ли насквозь.

Он повернулся, медленно, на живот. Я отвела его волосы в сторону, чёрные, тяжёлые, мокрые от пота и крови. И увидела его спину.

Впервые так близко.

Полоса чешуи шла вдоль его позвоночника, от затылка, от самой границы волос, до поясницы, где исчезала под чёрной кожей штанов. Она была шириной в мою ладонь, может, чуть больше. Чешуйки были мелкими, гладкими, плотно пригнанными одна к другой, тёмными, но не чёрными: в свете медуз они переливались зелёным, синим, бронзовым, как крыло жука. По

краям полосы чешуя переходила в кожу постепенно, так, что не было видно границы: чешуйки становились всё мельче, тоньше, прозрачнее, пока не превращались в бледную гладкую кожу.

Я не удержалась и коснулась её.

Кончиками пальцев. У самого затылка, где чешуйки были совсем маленькими. Они были прохладными, гладкими, как отполированный морем камень, и чуть упругими. Под ними я чувствовала тепло. Будто под холодной скорлупой горел очаг.

Он вздрогнул всем телом. Резко, будто я ударила его.

Я отдёрнула руку.

— Тебе больно? — испугалась я.

Он не ответил. Он лежал, уткнувшись лицом в сложенные руки, и я видела, как ходят мышцы на его спине. Как поднимаются и опадают плечи. Чешуйки вдоль позвоночника вдруг пришли в движение: встопорщились, приподнялись, будто шерсть на загривке у кошки, а потом медленно улеглись обратно, плотнее, чем раньше.

— Не больно, — его голос был глухим, будто шёл из-под воды. — Никто никогда не трогал её.

Я сидела рядом с ним на коленях, с руками, перепачканными его кровью и мёдом, и смотрела на его спину.

— Совсем никто? — переспросила я.

— Никто. — Он помолчал. — Мать. Когда я был маленьким. Тогда чешуи было мало, совсем чуть-чуть, на шее. Она гладила её, когда я засыпал. Больше никто.

У меня перехватило горло. Я снова протянула руку. Медленно, чтобы он слышал, как я двигаюсь. И положила ладонь ему на спину, на чешую, между лопатками.

Он задержал дыхание.

Я провела ладонью вниз. Медленно. Вдоль позвоночника, по гладким прохладным чешуйкам, которые чуть подавались под моими пальцами, как подаётся мех, если гладить его по шерсти. Вниз, между лопатками, по середине спины, к пояснице. Под ладонью, под чешуёй, я чувствовала, как напрягаются его мышцы, как они дрожат, как отзываются на каждое движение.

Он выдохнул. Долго, прерывисто, со звуком, который я никогда раньше от него не слышала. Не шипение. Не хрип. Что-то низкое, глубокое, похожее на стон, только тише.

Чешуя под моей ладонью потеплела. Я почувствовала это ясно: была прохладной, а стала тёплой, как нагретый солнцем камень. Чешуйки разгладились и легли совсем ровно, гладко, как шёлк.

Я убрала руку. Он не пошевелился. Я положила её снова, на затылок, туда, где начиналась чешуя, и провела вниз ещё раз. И ещё. Он лежал подо мной, огромный, тяжело раненный, и дышал так, будто бежал без остановки от самого Скальвика. Его пальцы впились в шкуры на полу. Я видела, как побелели костяшки.

А у меня внутри что-то горело. Горячо, тяжело, низко, в самом низу живота, как в доме Тордис, как перед водяной стеной, когда он смотрел на моё отражение. Только теперь я трогала его. Я. Сама. И каждое касание отзывалось во мне, будто это не он, а я лежала на полу под чьей-то ладонью.

Мои пальцы дошли до поясницы. До края его штанов, где чешуя пряталась под чёрную кожу.

Я остановилась.

Он медленно повернул голову. Его щека лежала на сложенных руках, и он смотрел на меня одним глазом из-под чёрных волос. Глаз был больше не мутным. Он был ясным, жёлтым, горящим, с широким, почти круглым зрачком. Я никогда не видела у него такого зрачка.

— Ингрид, — выдохнул он, и моё имя прозвучало так, как никогда раньше. Медленно, низко, будто пробовал каждый звук.

Я не ответила. Моя рука лежала на его пояснице, неподвижно. Я чувствовала под ладонью его тепло, его дрожь, его дыхание.

Он медленно перевернулся на бок. Моя ладонь соскользнула с его спины на бок, на рёбра, совсем рядом с перевязанной раной. Он не отстранился. Он лёг лицом ко мне, так близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Прохладное. Пахнущее солью.

— Ты говорила, что он целует лучше, чем я варю мидии, — его голос был совсем тихим.

— Ну, говорила.

— Я хочу узнать, как это.

Его взгляд опустился к моим губам. Задержался там. Поднялся снова к глазам. Он не двигался. Он ждал. Он ничего не берёт силой. Я знала это. Он лежал передо мной, раненый, дрожащий, с огромными зрачками, и ждал, что я скажу.

Боги, как мне этого хотелось. Наклониться к нему на ширину ладони и узнать, какие у него губы. Вплести пальцы в его чёрные волосы. Чтобы он прижал меня к себе, как под водой, когда мы плыли к камню. От этого желания у меня дрожали руки.

Но я подумала о Ранвейг.

О ленте с золотыми нитями, которая лежала на подлокотнике его кресла. О сети, которая поднималась ко мне снизу. О том, что он клялся найти, куда уносили невест, а я ещё не знала, правда ли это. О том, что я пришла сюда убить его, и не прошло ещё и пяти дней.

О том, что если я поцелую его сейчас, раненого, после крови и крика, я никогда не узнаю, почему я это сделала. Потому что хотела? Или потому что испугалась, что он не вернётся?

Я отняла руку.

— Нет, — прошептала я. — Не сейчас.

Он закрыл глаза. Долго молчал. Я видела, как дрожат его ресницы. Как напряжение уходит из его плеч, не сразу, постепенно, будто отлив.

— Не сейчас, — повторил он. — Значит, не никогда.

— Я не знаю.

— Это лучше, чем никогда, — он открыл глаза. Они снова были обычными: жёлтыми, спокойными, с узкими зрачками. — Ты обещала не лгать. Ты не солгала.

Я встала. Колени затекли, руки были в крови до локтей. Я пошла к источнику, мыться, и чувствовала его взгляд у себя на спине всю дорогу.

* * *

Когда я вернулась, он сидел, прислонившись спиной к ложу, и держал в руках наконечник. Тот самый, что я швырнула через зал. Он держал его через холстину, не касаясь пальцами, и вертел перед глазами, разглядывая руны.

— Не трогай его, — попросила я, подходя ближе. — Он тебя жжёт.

— Через ткань не жжёт. — Он не поднял головы. — Посмотри на руны, Ингрид. Ты видела такие раньше?

Я присела рядом. Руны на наконечнике больше не светились, но были видны: крошечные, тонкие, переплетённые, как узор на дорогой ткани.

— Нет. Отец режет другие. Проще.

— Твой отец режет руны людей. — Он повернул наконечник, и свет медуз блеснул на его гранях. — Люди получили руны от асов. Но асы оставили себе другие. Те, что сильнее. Те, что режут не на кости, а на металле цвергов.

— Ты говоришь об асах? — у меня похолодело внутри.

— Я знаю только одного, кто резал руны так, — его голос стал тихим и страшным. — Он резал их на моей коже, когда я был маленьким. На моей шее. Чтобы я держал хвост и не выпускал. Он стоял надо мной на краю моря, и у него был один глаз.

Я смотрела на наконечник в его руках.

— Это Один, — прошептала я.

Он не ответил. Он смотрел на руны, и чешуя у него на висках медленно чернела.

— Ты думаешь, это он бросил копьё?

— Я думаю, кто-то из тех, кто ему служит, — он отложил наконечник на шкуры, осторожно, через холстину. — Сам он не бросает. Он смотрит. Решает. А бросают другие. Я видел того, кто стоял на берегу, когда я поднялся. Белый. Высокий. Светился, как радуга после дождя. Смотрел на меня сквозь воду так, будто вода для него прозрачна.

— Я ударил в ответ, — продолжил он, глядя на свои обожжённые пальцы. — Хвостом. Волной. Берег там пустой, людей нет, только скалы и тюлени. Я разбил скалу, на которой он стоял. Он не упал. Шагнул в воздух, на свет, и свет унёс его вверх, как мост. Быстро. Я не успел.

Он сжал кулаки, и я увидела, как дёрнулся от боли угол его рта.

— Он смеялся, — добавил он тише. — Когда уходил по свету. Не громко. Будто ему было интересно, что я сделаю.

Он помолчал.

— На нём была шапка, — добавил он. — С мехом. Как у ваших торговцев.

Я перестала дышать.

Купец в бобровой шапке. С гладким молодым лицом. С прозрачными глазами, которые смотрели так, будто уже где-то меня видели. Который девять ночей ходил по Скальвику, пил воду у колодца и говорил мне, что люди мало что решают.

Который девять зим назад видел Ранвейг. На этом самом месте.

— Я его знаю, — мой голос прозвучал чужим. — Он приезжал в Скальвик. Привозил ярлу серебро. За жертву. Каждые девять зим.

Он медленно поднял на меня глаза, и я увидела в них то же, что крутилось у меня в голове. Тот, кто платил Скальвику серебром за дочерей, и тот, кто сегодня метнул в Змея копьё с рунами Одноглазого, был одним и тем же человеком. Если он вообще был человеком.

Глава 9. Край прибоя

Рана затягивалась два дня. Я считала по царапинам на кости: пятая черта, шестая. Каждое утро я снимала с его бока холстину, промывала горячей водой из источника и клала свежий мёд. Края раны сходились медленно, неохотно, и под новой кожей проступала чешуя, мелкая, тёмная, ровным рядом. Он лежал на шкурах и смотрел, как я работаю, и не говорил ни слова. Только дышал иначе, когда мои пальцы касались его кожи. Я делала вид, что не замечаю. Он притворялся, будто не видит, что я хитрю.

Мы не говорили о том, что случилось у ложа. О моей руке на его спине. О его зрачках, ставших круглыми. О моём «не сейчас». Это висело между нами, как пар над источником, и мы оба обходили его стороной, осторожно, будто боялись обжечься.

На шестой день он попросил меня заплести ему волосы.

Он сидел на шкурах, прислонившись спиной к ложу, а я перевязывала его рану. Его волосы мешали мне: падали на плечи, на грудь, на бок, лезли в мёд, путались в холстине. Я в который раз откинула их в сторону и выругалась сквозь зубы.

— Тогда отрежь их, — предложил он.

— Ещё чего, — я даже перестала мотать холстину. — Такие волосы у нас не у каждой девушки бывают. Их заплетают, а не режут.

— Я не умею.

— Ни мидии сварить, ни косу заплести. Что ты вообще умеешь?

Он подумал.

— Держать мир, — ответил он серьёзно.

Я засмеялась. Он не засмеялся, но что-то в его лице дрогнуло, будто ему понравилось, что я смеюсь.

— Сядь ровно, — велела я и перебралась ему за спину.

Его волосы были тяжёлыми, длинными, гладкими, как шёлк из южных сундуков, и пахли морем. Я расчесала их пальцами, медленно, по одной пряди, распутывая колтуны, которые наверняка не трогал никто много веков. Он сидел неподвижно. Только когда мои пальцы касались кожи на его затылке, где начиналась чешуя, по его плечам пробегала дрожь. Я разделила волосы на три пряди и начала плести, туго, ровно, как плёл мне отец, когда я была маленькой.

— Так плетут у вас? — спросил он, не оборачиваясь.

— Так плетут мужчины перед битвой. Чтобы волосы не лезли в глаза.

— А женщины?

— Женщины плетут иначе. Свободнее. А на свадьбу распускают.

Он долго молчал.

— На твоей свадьбе у камня волосы были заплетены, — заметил он наконец.

— Отец не велел расплетать.

— Из-за руны.

— Из-за руны, — согласилась я, затягивая конец косы кожаным шнурком из сундука.

Коса легла ему на спину, вдоль полосы чешуи, чёрная на тёмно-зелёном. Он завёл руку за спину и потрогал её, осторожно, будто боялся сломать. Потом повернул голову и посмотрел на меня через плечо.

— Мне нравится, — проговорил он тихо. — Что ты меня трогаешь.

Я ничего не ответила. Только отодвинулась и взялась за холстину снова, и руки у меня почему-то не слушались.

Зато мы говорили о купце.

— Он ас, — повторял Змей, глядя на наконечник, который так и лежал у подножия ложа на холстине. — Белый. Светится. Ходит по свету. Видит сквозь воду. Это Хеймдалль. Страж моста.

— Тот, что трубит в рог в конце времён?

— Тот самый, — он кивнул. — Говорят, он слышит, как растёт трава. Значит, слышал и тебя. Девять ночей. Каждое слово.

Я вспоминала колодец. Ковш с водой. Прозрачные глаза. «Ты бы удивилась, Торвальдова дочь, как мало решают люди». Он знал. Стоял передо мной, пил воду из нашего колодца и знал, что меня ждёт не Змей, а сеть Ран.

— Зачем асам наши девушки? — допытывалась я в который раз. — Зачем? У них есть всё. Валькирии. Вальхалла. Золото. Бессмертие.

— Не знаю, — отвечал он каждый раз. — Узнаю.

На седьмой день, по моим царапинам, рана закрылась совсем. Остался длинный тёмный след, будто от старого шрама, и ряд новых чешуек вдоль рёбер. Он встал с ложа, потянулся, медленно, всем телом, и я услышала, как хрустнули его кости.

— Пойдём со мной, — позвал он.

— Куда это?

— Наверх. — Он посмотрел на меня сверху вниз. — Ты семь дней не видела неба. Ты стала бледнее медуз.

* * *

Мы вышли из воды в маленькой бухте к северу от Скальвика, такой узкой, что в неё не протиснулась бы и рыбацкая лодка. Скалы стояли по обе стороны отвесно, чёрные, мокрые, поросшие лишайником, а между ними лежала полоса песка, белого, мелкого, какого я никогда не видела у нас, где берег сплошь из гальки.

Я выбралась на песок на четвереньках, кашляя, выплёвывая море. Это всегда было самым противным: вода не хотела уходить из груди. Он стоял рядом по колено в прибое и ждал, пока я отдышусь.

Потом я подняла голову и увидела небо.

Оно было бледно-голубым, высоким, с белыми клочьями облаков, которые неслись куда-то на юг. Солнце стояло низко, зимнее, но яркое, и било мне прямо в глаза. Я зажмурилась. Слёзы потекли сами, от света, от ветра, от чего-то ещё. Ветер пах снегом и водорослями. Где-то кричали чайки.

Я легла на спину, прямо на мокрый песок, раскинув руки, и смотрела в небо, пока не заболели глаза.

— Ты плачешь, — раздался надо мной его голос.

— Это от солнца.

— Ты пахнешь не солнцем.

— Ты обещал не говорить, что учуял.

Он помолчал.

— Обещал, — согласился он. — Прости.

Я повернула голову. Он стоял у самой кромки воды, там, где волны накатывали на песок и отступали, оставляя пену. Солнце освещало его целиком, впервые с тех пор, как я его знала. Под ним он был другим. Кожа оказалась не просто бледной, а чуть перламутровой, как изнанка раковины. Чешуя на висках, на запястьях, вдоль спины сверкала зелёным и золотым, будто кто-то рассыпал по нему мелкие самоцветы. Чёрные волосы отливали синевой. Глаза в солнечном свете стали почти прозрачными, янтарными, со зрачками тонкими, как волос.

Он стоял на солнце и щурился, как кот, которого вынесли из тёмного сарая.

— Ты давно не выходил на свет? — спросила я.

— Давно, — он поднял руку и заслонил глаза. — Я забыл, какое оно яркое.

— Сколько зим?

— Не помню. Много, — он опустил руку.

Он вышел из воды. Медленно, осторожно, будто не доверял песку. Сделал шаг, другой. Его босые ступни утонули в мокром песке по щиколотку, и он остановился, глядя вниз, на свои ноги. Пошевелил пальцами. Песок зашуршал.

— Он тёплый, — в его голосе было удивление. Настоящее, детское. — Сверху холодный, а внутри тёплый.

— Солнце нагрело, — я села. — Ты не знал?

— Нет. — Он смотрел на свои ноги в песке. — Я много видел с моря. Как люди ходят. Как едят. Как целуются. Но я не знал, что песок тёплый внутри.

Я смотрела на него, огромного, страшного, сверкающего чешуёй на солнце, который стоял по щиколотку в песке и шевелил пальцами, и не могла понять, хочется мне смеяться или плакать.

* * *

Мы пошли вдоль бухты. Я впереди, он за мной, по самой кромке воды. Песок кончился, начались камни, за ними опять потянулась белая полоса. Скалы расступились, и открылся вид на берег: длинная полоса гальки, уходящая на юг, и холмы над ней, бурые, с пятнами снега. За холмами, я знала, был Скальвик. Полдня пути, если идти быстро.

Я остановилась и посмотрела на холмы.

— Отсюда можно дойти до дома, — прошептала я.

Он не ответил. Я обернулась. Он стоял в двух шагах от меня, у самой воды, и смотрел на меня с непонятным выражением.

— Покажи, — попросила я. — Где твой край.

Он долго молчал. Потом медленно отвернулся от моря и пошёл вверх по берегу, ко мне. Шаг. Другой. Третий. Волны шумели у него за спиной. Он прошёл мимо меня и пошёл дальше, к холмам, по гальке, по сухим водорослям, по камням. Я пошла за ним.

Шум прибоя становился тише. Мы поднимались по склону, и море уходило вниз, и его голос, ровный, тяжёлый, вечный, слабел с каждым шагом.

Он шёл всё медленнее.

На десятом шаге от последней волны он споткнулся. На пятнадцатом остановился и схватился за камень. Я увидела, как посерело его лицо, как на лбу выступил пот. Чешуя на висках поблёкла, стала тусклой, как у снулой рыбы.

— Хватит, — я схватила его за руку. — Я всё поняла.

— Ещё нет, — он мягко высвободил руку и сделал шаг. Ещё один.

Шум моря внизу стал совсем тихим. Я едва его слышала. Только когда ветер стихал, доносилось далёкое ровное дыхание волн.

Он упал на колени.

Не споткнулся. Просто ноги перестали его держать, и он рухнул на камни, тяжело, как падает срубленное дерево. Он стоял на коленях, опираясь руками о землю, и его плечи ходили ходуном. Я видела, как сквозь его кожу проступает что-то: не кровь, не пот. Вода. Солёная вода сочилась из его кожи, будто его тело пыталось вернуться в море само.

— Вот здесь, — прохрипел он, не поднимая головы. — Дальше нельзя. Там меня нет.

Я упала на колени рядом с ним и обхватила его руками. Он был холодным, как утопленник, и мокрым, и дрожал. Я тянула его вниз, к морю, изо всех сил, а он был тяжёлым, как камень.

— Поднимайся, — кричала я ему в ухо. — Вставай, слышишь? Иди обратно! Ты что, совсем дурак?

Он поднялся. Не сразу. Сначала на одно колено, опираясь на меня, потом встал. Мы пошли вниз, к воде, спотыкаясь, держась друг за друга. Шум моря нарастал, и вместе с ним

возвращались его силы. На полпути он уже шёл сам. У самой кромки он отпустил меня и вошёл в воду по пояс, и стоял так, закрыв глаза, а волны били его в грудь.

Я осталась на берегу. Ноги у меня подкашивались. Я села на камень и обхватила себя руками.

Двадцать шагов от последней волны, и он падает. А Скальвик за холмами. Полдня пути.

Он вышел из воды и сел рядом со мной на камень. Его кожа снова стала перламутровой, чешуя заблестела. Только в глазах осталось что-то, чего не было раньше.

— Ты видела, — проговорил он.

— Видела. — У меня дрожал голос. — Зачем ты пошёл так далеко? Я же сказала: хватит.

— Ты должна знать, где я кончаюсь, — он смотрел на море, потом перевёл взгляд на холмы. — Если пойдёшь туда, я не смогу пойти за тобой. Если там тебя будут ждать, помочь не сумею. Я хотел, чтобы ты видела это своими глазами, а не верила на слово.

Я молчала. Ветер трепал мои волосы, выбившиеся из косы.

— Ты мог умереть.

— Нет. Я бы просто перестал быть здесь, — он показал на себя. — Вернулся бы в тело. Оно всё равно там, вокруг мира. Ему ничего не будет.

— А тебе?

Он повернул голову и посмотрел на меня.

— Это и есть я, — ответил он медленно. — Здесь.

Он помолчал, глядя на свои ладони, на чешую на запястьях, будто сам впервые разглядывал себя.

— Много веков я думал, что этот облик ничего не значит, — продолжил он. — Что он просто глаза, которыми тело смотрит на берег. А потом пришла ты и воткнула в него нож, и я понял, что ему может быть больно. Потом ты гладила его по спине, и я понял, что ему может быть хорошо. Раньше он не был ничем. Теперь он есть. Тело — это кольцо. Оно держит мир. А это… это то, что смотрит на тебя. Если оно перестанет быть, кольцо останется. Но тебя смотреть будет некому.

Я смотрела на него. Солнце било ему в лицо, и он щурился, и чешуя на его висках сверкала, и капли морской воды блестели у него на ресницах.

Я протянула руку и коснулась его лица. Его щеки, его скулы. Кожа была прохладной и гладкой. Он застыл, как тогда у ложа, когда я гладила его спину. Даже дышать перестал.

— Не делай так больше, — прошептала я. — Слышишь? Никогда.

Он смотрел на меня, не мигая.

— Не буду, — пообещал он.

Я убрала руку. Он медленно выдохнул.

* * *

Мы сидели на камнях у воды долго. Солнце сползло ниже, тени удлинились, ветер стал холоднее. Я сняла с ног башмаки и зарылась пальцами в песок, как он. Песок и правда был тёплым внутри.

Он сидел рядом и смотрел на меня. Не на море, не на небо. На меня. Я чувствовала его взгляд на своём лице, на шее, на руках.

— Что ты так смотришь? — не выдержала я.

— Твои волосы, — он показал на косу. — На солнце они другие. Под водой они серые. А здесь как огонь. Как золото Сиф.

— Ты знаешь про золото Сиф?

— Отец рассказывал. Когда я был маленьким, — что-то мелькнуло в его глазах и исчезло. — Он хвастался, как срезал ей волосы, пока она спала. Мать смеялась.

Я впервые слышала, чтобы он говорил об отце. Локи. Лжец, обманщик, отец чудовищ. Он хвастался своим детям. Мать смеялась.

— Можно мне? — он протянул руку к моей косе и остановился, не коснувшись.

Я поняла, о чём он. Мы договорились: не нюхать. Не говорить, что учуял.

— Давай, нюхай, — разрешила я.

Он наклонился. Медленно, так близко, что я почувствовала его дыхание на своей шее. Он не касался меня. Его лицо было у самых моих волос, у виска, у уха. Он втянул воздух, глубоко, долго. Я почувствовала, как дрогнули его ноздри, как он задержал воздух. Потом выдохнул, и прохлада скользнула по моей шее, прохладное, и от него у меня по коже побежали мурашки, от шеи вниз, по плечам, по груди, до самого живота.

Он не отстранился сразу. Он остался так, совсем рядом, и я слышала, как он дышит.

— Что ты чуешь? — спросила я шёпотом. Голос не слушался.

— Нюхать ты позволила, — голос у него тоже стал тихим и хриплым. — А говорить нет.

— Теперь разрешаю.

Он долго молчал. Его губы были у самого моего уха. Не касались.

— Соль, — шепнул он. — Солнце. Ветер. Мёд, которым ты мазала мою рану, у тебя на пальцах. Мою кровь, она въелась тебе в кожу, хоть ты и мылась. И ещё… — он запнулся. — Ты пахнешь так же, как у ложа. Когда трогала мою спину.

Я замерла.

— И как же?

— Как будто желаешь, — выдохнул он мне в ухо. — И боишься своего желания.

Меня обдало жаром с головы до ног. Я не могла пошевелиться. Не могла дышать. Он был так близко, и его губы почти касались моего уха, и я знала, что стоит мне повернуть голову, чуть-чуть, и наши лица окажутся рядом, и…

Над нами каркнул ворон.

Громко, хрипло, совсем близко. Я вздрогнула, и он отпрянул от меня одним движением, вскочил на ноги и запрокинул голову. Чешуя на его висках встала дыбом и почернела.

Над скалами кружили две птицы. Большие, иссиня-чёрные, с толстыми клювами. Они кружили медленно, широко, на одном месте, и смотрели вниз. На нас.

— Хугин и Мунин, — бросил он сквозь зубы. — Мысль и Память. Глаза Одноглазого.

Я узнала их. Не этих птиц, конечно, но такого же ворона. Того, что девять ночей сидел на коньке капища в Скальвике. Ярл говорил, что это к добру. Что боги видят нашу жертву.

Боги видели. Теперь они разглядели и меня. Живую. Сидящую на берегу рядом со Змеем.

Он нагнулся, подхватил с гальки камень величиной с кулак и швырнул вверх так сильно, что тот свистнул в воздухе. Один из воронов шарахнулся, кувыркнулся через крыло, но булыжник его не задел. Птицы каркнули разом, насмешливо, будто переговаривались, и полетели на юг. Не спеша. Им некуда было спешить. Они уже всё увидели.

Он смотрел им вслед, пока они не превратились в две чёрные точки над холмами, за которыми лежал Скальвик.

— Теперь он знает, — его голос был ровным и страшным. — Что ты жива. Что ты со мной. Что я вывожу тебя на берег.

Я встала. Колени дрожали, но не от страха. Или не только от него.

— Значит, мне надо идти, — решила я вслух.

Он резко обернулся.

— Куда ещё?

— Домой. Сегодня. — Я смотрела на холмы. — Если вороны полетели туда, значит, туда и придут те, кто их послал. В Скальвик. К отцу. Он знает про руну, про сеть, про всё. Он резал руну, которая сожгла сеть Ран. Если асы узнают, что это он…

Я не договорила. Он понял.

— Ты пойдёшь туда, куда я не могу, — его голос стал тихим. — Одна. Ночью. Туда, куда только что полетели вороны.

— Именно так.

— Ингрид, послушай.

— Мы договорились, — я посмотрела ему в глаза. — Я гостья, не пленница. Я могу уйти, когда захочу. Ты сказал: только сначала скажи, что думаешь. Говори.

Он долго смотрел на меня. Чешуя на его висках медленно светлела.

— Я думаю, что это глупо, — проговорил он. — Я думаю, что тебя там убьют. Или схватят. Или отдадут Ран снова. Я думаю, что твой отец мог бы прийти к морю сам, если бы захотел. Я думаю, что если с тобой что-то случится за краем прибоя, я буду стоять на берегу и слушать, как ты кричишь, и ничего не смогу сделать.

— Это всё?

— Нет, — его голос дрогнул. — Ещё я думаю, что ты всё равно пойдёшь.

— Пойду, ты прав.

Он закрыл глаза. Стоял так долго, и я видела, как ходят желваки на его скулах. Потом открыл глаза, поднял руку к своему левому запястью, туда, где чешуя лежала тонким браслетом, и одним резким движением сорвал одну чешуйку.

Я ахнула. Из-под неё выступила тёмная капля крови.

Он протянул мне чешуйку на раскрытой ладони. Она была маленькой, с ноготь моего мизинца, тёмной, переливчатой, тёплой.

— Возьми, — попросил он. — Если будет нужно, брось её в воду. В любую. В море, в ручей, в лужу после дождя, если она стекает к морю. Я услышу. Где бы я ни был. И приду так быстро, как смогу. Так близко, как смогу.

Я взяла чешуйку. Она была тёплой, как живое сердце. На его запястье, там, откуда он её сорвал, медленно затягивалась маленькая ранка.

— Тебе было больно, — прошептала я.

— Было, — согласился он. — Иди, пока светло. Пока вороны далеко. Я буду ждать у воды под Скальвиком. Там, где ты кидала камни.

Я сжала чешуйку в кулаке. Потом сунула её за пазуху, туда, где на кожаном шнурке висел молоточек Тора. Чешуйка легла рядом с ним, тёплая против холодного металла.

Он увидел, куда я её спрятала. И ничего не сказал.

Я надела башмаки и пошла вверх по склону, к холмам. На двадцатом шаге от последней волны обернулась.

Он стоял у кромки прибоя, огромный, сверкающий чешуёй в закатном солнце, и смотрел мне вслед. Волны обнимали его колени. Он не двигался.

Я подняла руку. Он ответил тем же.

Потом я перевалила через холм, и море скрылось из виду.

За холмом было тихо. Ни волн, ни чаек, только ветер в сухой траве и хруст снега под башмаками. Я шла на юг, к Скальвику, и впервые за семь дней не слышала моря. Тишина давила на уши, как вода на глубине. Я сунула руку за пазуху и нащупала чешуйку. Она была тёплой. Я держала её в кулаке всю дорогу, до самых сумерек, пока внизу не показались крыши родного посёлка и дым над ними.

Глава 10. Отцовская руна

Я дождалась темноты в овраге за кузницей, где летом собирают морошку, а зимой никто не ходит. Сидела на корточках в снегу, кутаясь в синее южное платье, которое совсем не грело, и смотрела на огни Скальвика внизу. Их было мало. В посёлке рано ложатся: рыбаку вставать до света.

Я знала каждую крышу. Вон длинный дом ярла, самый большой, с резными драконами на коньке. Вон кузница Гуннара, отца Сольвейг, тёмная, остывшая. Вон дом Кольссонов, где живёт Бьярни. Вон наш, у самого капища, и в нём не горит ни одного огня.

А капище светилось. Сквозь щели в бревенчатых стенах пробивался тусклый жёлтый свет, будто внутри горела одна-единственная плошка.

Пока я ждала, на берег кто-то спустился.

Я увидела фонарь, маленький, дрожащий, который двигался от кузницы к воде. Потом различила фигуру: тонкую, в длинном плаще, с капюшоном на голове. Фигура остановилась у самой кромки, там, где в первую ночь стояла я, и фонарь опустился к гальке.

Ветер дул с моря, и он донёс до меня голос. Тихий, срывающийся, такой знакомый, что у меня защемило под рёбрами.

— Ингрид Торвальдсдоттир.

Сольвейг. Она пришла, как обещала. Как приходила каждый вечер.

— Ингрид Торвальдсдоттир, — повторила она, и голос у неё дрогнул. — Сегодня седьмая ночь. Тордис говорит, что на седьмую ночь мёртвые отпускают живых. Что надо перестать звать. Я не перестану.

Я поднялась из оврага, сама того не заметив. Ноги несли меня вниз, к воде, к ней. Она стояла в двадцати шагах. Я могла бы окликнуть её. Подбежать, обнять, сказать: я здесь, я живая, перестань плакать.

Я остановилась за углом лодочного сарая.

Если я выйду к ней сейчас, она закричит. Не от страха, от радости, но закричит, и проснётся весь посёлок. А если не закричит, то завтра расскажет матери, или Тордис, или Бьярни. Она не умеет хранить тайны. Никогда не умела. И тогда за ней придут те же, кто придёт за мной.

Я стояла в тени сарая, вжавшись спиной в просмолённые доски, и смотрела, как она плачет у воды. Она повторила моё имя ещё раз. Потом наклонилась, подобрала камень и бросила его в море, далеко, как бросала я. Камень плюхнулся в темноте.

Я сунула руку за пазуху и сжала чешуйку. Где-то там, под водой, у этого самого берега, он ждал меня. И слышал, наверное, как Сольвейг зовёт моё имя. Слышал, как я дышу за сараем.

Сольвейг постояла ещё немного, потом подняла фонарь и пошла обратно, к кузнице. Капюшон упал у неё с головы, и я увидела её светлые волосы, растрёпанные ветром. Она шла медленно, опустив плечи, как ходят старухи.

Когда за ней закрылась дверь, я вытерла глаза рукавом и вернулась в овраг.

Я ждала, пока погаснут последние окна. Потом ещё. Потом встала, отряхнула снег и пошла вниз.

Собаки учуяли меня у первого же забора. Пёс старого Грима, лохматый, рыжий, которого я кормила рыбьими головами с тех пор, как он был щенком, выскочил мне навстречу, рыча, и вдруг остановился. Принюхался. Попятился. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и он заскулил, тонко, жалобно, поджал хвост и убрался под крыльцо.

Я смотрела на него и не понимала. Потом поняла. От меня пахло морем. Не так, как пахнет от рыбаков, а иначе. Глубже. Пахло его чертогом, его кровью, въевшейся мне в кожу, им самим.

Другие собаки тоже не лаяли. Только скулили из-под крылец, когда я проходила мимо.

* * *

Дом был пуст. Старые трэли спали за перегородкой, и я слышала, как храпит муж и как жена бормочет во сне. Очаг остыл. На отцовской лежанке за занавесью никого не было. На скамье, там, где он сидел в ночь жребия, лежал кожаный кошель с южным серебром. Нераскрытый. Покрытый пылью.

Я постояла над ним. Потом пошла в капище.

Дверь была не заперта. Капище никогда не запирают: боги не любят замков. Я толкнула её, и она открылась беззвучно, на смазанных петлях. Отец всегда смазывал петли сам.

Он сидел на корточках у каменной плиты, спиной ко мне, и что-то вырезал. На плите горела плошка с жиром, и в её свете я видела его согнутую спину, седые косы, руки, которые двигались быстро и точно. В пальцах у него была кость, длинная, белая, а в другой руке нож. Тонкий, рунный, с костяной рукоятью, которым он резал знаки для жертв. Рядом стояла бронзовая чаша, и в ней темнело что-то густое. Кровь. Его собственная: я видела свежий порез у него на запястье, перевязанный тряпицей.

Он резал руну. Ещё одну.

— Для кого? — спросила я.

Он замер.

Нож выпал у него из пальцев и звякнул о камень. Он не обернулся. Сидел, не шевелясь, и я видела, как напряглась его спина, как застыли плечи.

— Уходи, — его голос был хриплым, сухим, как прошлогодняя трава. — Уходи, драуг. Я не звал тебя. Я не открывал тебе могилу. Я сделал всё, что мог.

— Я не драуг, отец.

— Все драуги так говорят. — Он медленно поднялся, всё ещё спиной ко мне, и взял с плиты нож. — Ты пришла забрать меня за то, что я сделал. Я знаю. Я ждал. Каждую ночь ждал.

Он обернулся.

Я увидела его лицо в свете плошки и не узнала. За семь дней он постарел на десять зим. Щёки ввалились, глаза запали, кожа на скулах натянулась, как на барабане. Борода была всклокочена, будто он не расчёсывал её с тех пор, как я ушла. Он смотрел на меня поверх ножа, и в его глазах был ужас.

Потом ужас сменился чем-то другим.

— Ингрид, это ты? — прошептал он.

Нож снова выпал из его пальцев.

Я шагнула к нему. Он не отступил, но и не двинулся навстречу. Стоял, как вкопанный, и смотрел, как я подхожу. Я взяла его за руку, за ту, что была перевязана. Пальцы у него были ледяными.

— Я живая, — я прижала его ладонь к своей щеке. — Чувствуешь? Тёплая. Драуги холодные. Тордис говорила.

Он стоял, не шевелясь, и его ладонь лежала на моей щеке. Потом пальцы дрогнули. Медленно, будто не веря, он провёл ими по моей скуле, по виску, по волосам. Нащупал косу. Ту самую, которую заплёл мне в ночь жребия. Нащупал под волосами твёрдое, плоское, то место, где пряталась руна.

И заплакал.

Я никогда не видела, как плачет отец. Ни когда умерла мать. Ни когда ушла Ранвейг. Ни разу за двадцать две зимы. Он плакал беззвучно, стоя посреди капища, держа в руке мою косу, и слёзы текли по его ввалившимся щекам в седую бороду, а плечи тряслись так, что я испугалась, что он упадёт.

Я обняла его. Он был маленьким, костлявым, лёгким, как ребёнок. Я держала его, а он плакал мне в плечо, и пахло от него дымом, кровью и старостью.

— Она обещала, что ты будешь жить, — прохрипел он мне в шею. — А я не верил. Я семь ночей не спал. Резал руны. Думал, может, если вырежу ещё одну, сильнее…

— Кто обещал? — я отстранилась.

Он отстранился и посмотрел на меня. Глаза у него были красными.

— Сядь, — он вытер лицо рукавом. — Сядь, Ингрид. Я расскажу. Всё. Теперь можно.

* * *

Мы устроились на земляном полу у каменной плиты, плечом к плечу, как в те зимы, когда я была маленькой и он рассказывал мне про богов. Плошка догорала. Отец смотрел на огонь и говорил тихо, медленно, будто каждое слово доставал со дна колодца.

— Через зиму после Ранвейг ко мне пришла женщина. Ночью. Вот так же, как ты сейчас, в капище. Я резал руны для весенней жертвы, а она вошла и встала у двери. Я не слышал, как она пришла. Собаки не лаяли.

— Какая женщина? — перебила я.

— Старая. А может, и нет, — он покачал головой. — Я так и не понял. Лицо у неё менялось. То морщины, то гладкая кожа. Глаза жёлтые, как у волка. На ней был плащ из серых шкур, волчьих, и на плаще висели железные кольца, много, они звенели, когда она двигалась. Волосы седые, длинные, до земли. Она сказала, что пришла из Железного леса.

Я перестала дышать.

Железный лес. Там, где жила его мать. Где она вырезала деревянного волка и девочку с бело-чёрными волосами. Где были счастливы трое детей, пока не пришли асы.

— Она сказала, что знает, где моя дочь. — Отец не заметил, как я застыла. — Что Ранвейг не съели. Что её никто никогда не ел, ни одну из наших дочерей. Что Змей их не берёт. Их берёт сеть. Морская сеть. И уносит наверх.

— Наверх? Куда наверх?

— Наверх. К богам. — Он посмотрел на меня, и в его глазах был тот же ужас, что и когда он принял меня за драуга. — Я годи, Ингрид. Я служу Тору всю жизнь. Мой отец служил. Его отец. Я режу им баранов, я кроплю их кровью вас, наших дочерей. А она стояла у этой двери и говорила, что девушек забирают боги. Мои боги.

— И ты ей поверил?

— Нет, — он покачал головой. — Сначала нет. Я её выгнал. Назвал троллихой. Она засмеялась и ушла. А через девять ночей вернулась. И принесла это.

Он полез за пазуху и вытащил что-то на кожаном шнурке. Кость. Маленькую, плоскую, такую же, как та, что пряталась у меня в косе. Только на этой не было рун. Гладкая, чистая.

— Она дала мне две таких. Китовую кость. И научила резать руну. Одну. Старую, старше наших. Не асскую. Ётунскую. Сказала, что сеть Ран её не удержит. Что её надо резать своей кровью и надо, чтобы резал тот, кто любит. Иначе не сработает.

Он повертел кость в пальцах.

— Я восемь зим учился. Резал на бересте, на дереве, на кости. Портил. Начинал заново. — Он кивнул на мою косу. — Эта сотая. Может, двухсотая. Я не считал.

— А вторая кость? — я показала на ту, что он держал.

— Для Сольвейг, — он опустил глаза. — Или для Аси. Или для Гуды. Для той, на кого выпадет в следующий раз. Если я доживу.

У меня сжалось горло.

— Что ещё она говорила? — допытывалась я.

Он долго молчал. Плошка на плите почти погасла. Её свет дрожал на его лице, и тени на впалых щеках становились то глубже, то мельче.

— Она сказала, что под водой надо дышать. Что если вдохнуть море с руной в волосах, море не убьёт. — Он помолчал. — И ещё она сказала одну вещь, которую я не понял. Не понимаю до сих пор.

— Какую же?

Он поднял на меня глаза.

— Она сказала: «Отправь вторую дочь к моему сыну. Он её не обидит. Он в жизни ни на кого не поднял руки первым. Его самого обидели больше всех».

Я сидела на земляном полу капища, и мне казалось, что пол уходит из-под меня.

К моему сыну.

Женщина из Железного леса. С глазами хищника. В плаще из серых шкур. Мать волка. Мать девочки с бело-чёрными волосами. Мать мальчика, которого бросили в море.

Ангрбода.

— Отец, — у меня пересохло во рту. — Ты знаешь, кто это был?

— Нет, — он покачал головой. — Вёльва. Колдунья. Из тех, что бродят по дальним хуторам и гадают за ночлег. Я думал о ней восемь зим и так и не понял. А ты знаешь?

Мне хотелось рассказать ему всё: про чертог, про рёбра кита, про деревянные фигурки в маленькой тёмной комнате. Про то, что его сын, о котором говорила колдунья, держит мир, ест китов целиком и не умеет варить мидии. Что он поклялся найти Ранвейг. Что он позволил мне воткнуть нож себе в горло. Что я гладила его спину, а он дрожал под моими руками.

Я не смогла. Слова застряли в горле, тяжёлые, как камни.

— Потом, — пообещала я. — Расскажу потом.

Отец смотрел на меня долго. Потом кивнул, будто понял больше, чем я сказала.

* * *

— Ты подстроил жребий, — я смотрела на плиту, а не на него. — Да?

— Да, — он не стал отпираться. — Вырезал зарубку на нашей плашке. Снизу, у самого края. Чтобы найти её на ощупь. В мешке.

— Поэтому у тебя не дрожали руки.

— Поэтому, — не стал спорить он.

— А серебро? — я повернулась к нему. — Ты взял серебро, отец. За меня. Как за Ранвейг.

Он вздрогнул, будто я его ударила.

— Я взял серебро, чтобы ярл ничего не заподозрил, — его голос был тихим и ровным. — Если бы я отказался, как ты, все бы смотрели на меня. На мой дом. На мою дочь у камня. А мне было нужно, чтобы никто не смотрел. Чтобы никто не заметил, что я вплёл в твою косу.

— Хеймдалль смотрел, — вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать.

— Кто смотрел?

— Купец. В бобровой шапке. Который привозит серебро. — Я смотрела, как меняется его лицо. — Он не купец, отец. Он ас. Хеймдалль. Страж Биврёста. Он девять ночей ходил по Скальвику и смотрел на меня. И на тебя. А потом бросил в Змея копьё с рунами Одина.

Отец побелел. Даже в полумраке капища я видела, как кровь отхлынула от его лица.

— Хеймдалль, — повторил он. — Белый ас.

— Он видел Ранвейг. Девять зим назад. Он сам мне сказал. У колодца.

Отец закрыл лицо руками. Сидел так долго, качаясь взад и вперёд, как старухи над покойником. Потом опустил руки.

— Серебро до сих пор лежит на скамье, — проговорил он глухо. — Я не открывал кошель. Не смог.

— Я видела.

— Девять зим назад я купил лодку. На серебро за Ранвейг. Ты говорила при всех. — Он смотрел на свои руки. — Лодка сгнила. Я сам её не сжёг, ждал, пока сгниёт. Каждую весну смотрел, как она гниёт у причала, и думал, что так мне и надо.

Я не знала, что сказать. Девять зим я злилась на него: за то, что он вытянул плашку Ранвейг, за то, что взял серебро, за то, что молчал. А он все эти девять зим сидел в капище и резал руны своей кровью. Двести рун. Сто. Он не считал.

Я взяла его руку. Ту, что была перевязана. Развернула тряпицу. Под ней был порез, свежий, и под ним старые, белые, десятки шрамов, один на другом, от запястья почти до локтя.

— Отец, что же ты с собой делал, — у меня задрожал голос.

— Надо было резать своей кровью, — он смотрел, как я провожу пальцем по шрамам. — Тот, кто любит. Так она сказала.

Я прижала его руку к губам. К шрамам. И держала так долго, пока не перестала дрожать.

* * *

Плошка затрещала, догорая. Отец протянул руку и поправил фитиль, и огонь на миг вспыхнул ярче.

— Почему руна сработала? — не унималась я. — Ты говоришь, колдунья учила резать её тому, кто любит. Но ведь не только в этом дело. Под водой я дышала. Он сказал, что никогда не видел, чтобы человек дышал морем.

Отец долго смотрел на огонь.

— Твоя мать была с севера, — проговорил он наконец. — Из Халогаланда, где зимой не бывает солнца. Ты знаешь. Но я никогда не рассказывал тебе, что её бабка была вёльвой. Настоящей. Из тех, кто сидит на высоком помосте и поёт, пока не увидит, что будет. Твоя мать этого стыдилась. Не хотела, чтобы у нас знали. — Он помолчал. — Она умела петь так, что рыба сама шла в сети. Я видел. Один раз. Она пела у воды, когда ты была совсем маленькой и мы голодали. Рыба шла так, что лодка чуть не перевернулась.

Я ничего этого не знала. Мать была тихой, болела, пряла у очага и пела только колыбельные.

— Колдунья из Железного леса тоже это знала, — добавил отец. — Она сказала, что у тебя материнская кровь. Не у Ранвейг. У тебя. Поэтому руну надо резать для тебя, а не для первой попавшейся. Поэтому море тебя примет.

«Ты похожа на мать. Не на Ранвейг. На мать». Он сказал это у камня, когда застёгивал браслет.

— Ты знал, что это буду я, — выдохнула я. — Не только потому, что подстроил жребий. Ты знал с самого начала.

— Восемь зим знал, — признался он. — И восемь зим молился, чтобы ошибиться.

— Где ты была? — спросил он, когда плошка погасла совсем и мы сидели в темноте. — Эти семь ночей. Где ты была, дочь?

Я молчала. В темноте было легче.

— У него, — ответила я наконец.

Отец не пошевелился. Я слышала, как он дышит, медленно, тяжело.

— У Змея?

— У Змея.

— Он… — отец запнулся. — Он не обидел тебя?

Я вспомнила его глаза. Его кровь на моих руках. Его спину под моей ладонью. Его голос, когда он говорил «не сейчас — значит, не никогда».

— Нет, — ответила я. — Он ни разу меня не обидел. Даже когда я воткнула ему нож в горло.

Отец закашлялся. Или засмеялся. В темноте я не разобрала. Потом он долго молчал, и я слышала, как он теребит пальцами бороду, как делал всегда, когда думал о чём-то трудном. Снаружи завывал ветер, гремел незапертой ставней на доме ярла.

— Колдунья была права, — проговорил он. — Значит, права.

— Он поклялся найти Ранвейг, — добавила я тихо. — Кольцом. Хвостом. Руны в его чертоге вспыхнули, когда он клялся. Он найдёт её, отец. Я знаю.

Отец долго молчал. Потом нашарил в темноте мою руку и сжал её. Крепко, сухими горячими пальцами.

— Тогда возвращайся к нему, — его голос был твёрдым. — Сегодня же. Пока темно. Пока никто…

Дверь капища открылась.

Я не слышала шагов. Наверное, потому что слушала отца. Дверь распахнулась, и в проёме встала тёмная фигура с горящей лучиной в руке. Свет лучины упал внутрь, на плиту, на отца, на меня.

Это была Тордис.

Она стояла на пороге, закутанная в три платка, с миской каши в одной руке и лучиной в другой. Наверное, принесла годи поесть, как приносила, должно быть, все семь ночей, пока он резал руны и не выходил из капища.

Она увидела меня.

Миска выпала у неё из рук и разбилась о порог. Каша растеклась по земле. Тордис стояла, раскрыв рот, и смотрела на меня выцветшими глазками, и лучина в её руке дрожала так, что по стенам метались тени.

— Тордис, — я поднялась на ноги. — Это я. Не кричи. Пожалуйста.

Старая повитуха, принявшая половину Скальвика, включая меня, набрала полную грудь воздуха.

И закричала так, что, наверное, проснулись даже мёртвые.

— Драуг! — её голос взвился над крышами, пронзительный, как крик чайки. — Драуг пришёл! Утопленница вышла из моря! Люди! Люди-и-и!

Где-то залаяла собака. Потом другая. Потом третья. В доме напротив вспыхнул свет. В соседнем. Хлопнула дверь. Кто-то закричал в ответ.

Отец схватил меня за руку.

— Беги, — прошептал он. — К морю. Беги, Ингрид!

Но в дверях уже стояли люди с факелами.

Впереди всех, с топором в руке, в одной рубахе, накинутой на голое тело, стоял Гуннар-кузнец, отец Сольвейг. За ним старый Грим с вилами. За ними ещё, и ещё, лица, которые я знала с детства, перекошенные страхом и сном. Факелы трещали. Свет от них плясал по стенам капища, по дубовому молоту над плитой, по моему синему южному платью.

Кто-то из женщин за спинами мужчин завыл, тонко и протяжно, как воют по покойнику. Кто-то сделал знак молота. Гуннар поднял топор.

— Не подходи, — прохрипел он. — Не подходи, нечисть. Я не посмотрю, что ты была дочерью годи.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.